

Мария Федоровна Князева (Ермолина)

Мои воспоминания

Жизнь семьи. Школа и гимназия. Мои скитания.

[Самые ранние воспоминания: Жизнь семьи в г. Вятке, в Орловском починке, и в деревне Беково[Табеково?] Уржумского уезда]

Мои родители, Федор Васильевич и Олимпиада Евграфовна Ермолины по происхождению крестьяне, оба были выходцы из глухих мест Вологодской губернии. Мать из Усть-Сысольского уезда, отец – из другого. Леса занимали чуть ли не всю Вологодскую губернию. Жителям приходилось выжигать часть лесного пространства, чтобы получить пригодную для пашни почву, но урожаи были 2-3 года, а потом почва истощалась. Тогда еще единственным средством удобрения почвы знали навоз, но для этого нужно было иметь домашний скот: лошадь, корову, овец. И для них тоже нужен был корм. Ремесла и промышленность были мало развиты, многие многосемейные жители еще молодыми отправлялись в поисках работы в соседние губернии.

Где встретились мои родители, я не знаю, но только когда я стала старше, я установила по их рассказам и документам, что в 1890 году они жили в Уржуме, где я родилась, где меня крестили. А уже в 1891 году – в самом городе Вятке, где они пережили голод и холеру, охватившие среднее Поволжье. По их рассказам они имели работу, от голода не страдали, холерой не заболели. Организация помощи голодающим большей частью осуществлялась по инициативе частных лиц, а не правительства. Больниц и барачков было мало. Больные оставались дома, где их невежественные родственники абсолютно не принимали никаких мер предосторожности от болезни, ели и пили из той же посуды, которой пользовались холерные больные, и, естественно, заболевали сами. Мало того, невежество народа доходило до того, что они не считали нужными требования врачей, относились к ним недоверчиво и враждебно. Ели испорченные продукты. Раз полиция, по требованию врачей, уничтожила гнилую воблу, облила керосином и закопала в землю, так голодающие выкопали ее и ели. Вобла – вяленая, соленая, копченая – была основной пищей бедного населения Поволжья. Народу погибло очень много. На жителей города Вятки самое тяжелое впечатление производил сбор трупов по домам. Рано утром по улице двигалась черная фура, в которую собирали трупы и отвозили в морг. Был случай, что одного больного сдали еще живым в морг в бессознательном состоянии, и как он был поражен, очнувшись на полу среди мертвых.

Из времени пребывания в Вятке я только помню ярко одну картину: я лежу у мамы на коленях лицом вниз, ожидаю, что со мной что-то будут делать, и ору что есть мочи от страха. Иногда перестаю, раскрываю глаза и вижу около себя огромную кадку с цветком чуть ли не до потолка, а пол блестит как зеркало. Когда я позже рассказывала об этом матери, она очень удивлялась моему раннему воспоминанию, мне было тогда года полтора. У меня на спине появился нарыв. Ведь детских больниц и поликлиник не было, и мама понесла меня частному врачу на дом. Он принял нас в своей гостиной и сделал мне надрез. Боли я не чувствовала, а кричала от страха.

Вторая памятная картина. В 1892 году весной моя мама взяла меня и уехала от отца.

Вот этот момент, когда я с мамой уже находилась на пароходе, а на пристани, провожая, стоял отец и молча смотрел на нас, я впервые тут ярко и отчетливо увидела

фигуру отца. «Вон твой отец» – говорила мне мать, но я только смотрела, не понимая, что такое «отец». Мне было два с половиною года. С этих пор я с небольшими перерывами стала запоминать все подробности нашей семейной жизни. Я только позднее узнала, почему мать уехала от отца. В Вятке мои родители приютили женщину с ребенком, мальчиком лет двух, покинувшую свою родину в Вологодской губернии. Она, видимо, влюбилась в моего отца, продолжала жить у нас и, вероятно, отец тоже отвечал на ее чувства.

Куда мы прибыли с мамой и где я находилась – этого не знаю, только мама моя устроилась работать в поселке, называемом Орловский починок в 25 верстах от города Уржума. И вот опять яркая картина перед моими глазами. В то же летнее время я еду в тарантасе с моим отцом, оглядываюсь кругом, так широко, так ново все: поля, река, роща... Отец мне говорит: «Вон, видишь, твоя мать». Вдали, в поле, я вижу кучку женщин, но где мама – не разбираю. «Вон, видишь, она в розовом платье»? А я и розового цвета не знаю, какой он? Мы подъехали к большому деревенскому дому, тут была и мать и много жителей починка. Ко мне подтолкнули одну девочку и сказали, что это будет моя подружка. Но она не понравилась мне: какая-то серая, с большими красными некрасивыми глазами.

Вот здесь, в Орловском починке, и остались мы жить вместе с отцом. Сняли отдельную маленькую избушку. Работы у отца было много, он был сапожник. Но новой обуви он шил мало, все больше чинил. Здесь его очень полюбили. Всегда веселый, пел и играл на гармошке, для маленьких ребят сам сделал кукольный театр. Сам же за всех немых артистов и говорил, и пел, и смеялся. Не только ребята, но и взрослые приходили посмотреть и послушать его театр. Отец ходил на охоту, завел ружье, собаку большую, черную с рыжими подпалинами. Звали ее Мухтаркой. Хитрый был пес! Когда я что-нибудь ела, он терся около меня и бессовестно выманивал мой кусок. А когда мы, ребяташки, зимой запрягали его в санки, он обычно стаскивал у кого-нибудь из ребят шапку или варежку и отбегал в глубокий снег. Приходилось просить помощи у взрослых.

В середине зимы у мамы родился мальчик, назвали его Васей, обещали мне, что он будет со мною играть, а вместо этого заставили качать его люльку, что мне очень не понравилось.

Однажды за обедом мама, зачерпнув ложкой суп, так и осталась неподвижна, глядя на улицу. Но какой это был взгляд! Печальный, куда-то устремленный внутрь... Я была слишком мала, умишка еще никакого, но я почувствовала, что у мамы какое-то горе. И оно вскоре и пришло. Теперь, когда я могу судить критически всю нашу семейную жизнь, мне кажется, что эта зима была последней хорошей, дружной и мирной в жизни родителей. Отец любил и заботился о нас, был весел, жизнерадостен. Я не видела его злым и пьяным.

Но вот прошла зима и весной неожиданно приехала к нам со своим сыном та женщина – Дуня. Раньше я ее не видела около себя, не замечала. И только теперь разглядела ее высокую фигуру, молчаливую, неулыбчивую. Она мрачно смотрела на всех и как будто не вмешивалась в хозяйственные заботы. Мы переехали в другой большой дом. Я пользовалась такой свободой, что на меня махнули рукой. С деревенскими малышами уходила в поле, на сенокос, на луга собирать дикий щавель. Помню, покажут мне ребята листья щавеля, а я пойду, наберу всякой травы и отдаю им. С ними, очевидно, я и питалась, ибо, по рассказам родителей, я убегала утром, а приходила вечером усталая, еле-еле бреду. Еще на улице подхватывал меня отец на руки и вносил в дом. Накормят, уложат спать, а наутро я опять незаметно удираю из дома.

Но и тут прожили мы недолго. Мама взяла меня и Васю и опять спешно бежала от отца. Отправилась она сначала в Уржум, но вскоре нашла работу в деревне Беково, в семи

верстах от Уржума. Там были ей знакомые муж и жена, которые охраняли дом, хозяйство, большой яблоневый сад нашего городского головы. Была у него и значительная часть пахотной земли, за обработкой которой тоже следили тетя Настя с мужем. У них прожили мы все лето, там случилось много разных событий, которые запечатлелись в моей памяти.

Во-первых, в доме нельзя было спать, было душно и досаждали мухи и клопы. И мы с мамой ушли спать на сеновал. Высокое хорошее здание и душистое сено были гораздо приятнее зимнего дома. Во-вторых, была целая драма: как вынуть у меня из пятки огромную занозу. Советов было много. Приехавший в то время в свое хозяйство городской голова, стоя у окна, долго рассказывал, как это сделать гигиенично. В-третьих, на деревенской улице на нашу кучку ребятишек бросился бык, стадо только что пригнали с лугов. Мы все бросились врассыпную бежать, но он, как потом нам рассказали, все же, нагнал одну девочку, подцепил рогом за платье и перебросил через забор. Отделалась она синяком и рваным платьем. В-четвертых, была организована «помочь» крестьян на уборке урожая. Крестьянам объявили, чтобы они, кто хочет, в такой-то день приходили работать с раннего утра, а после работы вместо платы будет обед. Я смотрела с большим интересом как стали ставить в саду на лужайке длинный стол из досок, а женщины готовили обед. Работу в поле закончили довольно рано, еще солнце было высоко. Уселись за стол большей частью мужчины, выпили водки перед едой. Приготовлено было много и вкусно: мясного, рыбного, овощей, каш разных. И все это разом было выставлено на стол, пусть каждый ест что хочет. Долго сидели за столом. По правде говоря, дома ведь не приходилось им есть так вкусно и обильно. Все наши деревни недалеко от города были бедны, перебивались, что называется «с хлеба на воду». В-пятых, и это самое грустное, умер мой братишка, ему было месяцев 6-7. Только позднее, когда я стала постарше, я вспоминала, что у меня был брат, и глубоко сожалела что лишилась его. А тогда просто это приняла. Долго смотрела я на него, такого бледного, вытянувшегося в простом сосновом гробике, в платье голубеньком с белыми полосками, да еще маме сказала: «Сшила бы и мне такое платье». А она ответила: «Сошью, когда помрешь».

В-шестых, у тети Насти родился сын. Она лежала на русской печке на кухне, куда я влетела и в изумлении остановилась на пороге. Тетя Настя лежала в длинной белой рубахе, держась одной рукой за конец полотенца, другой конец которого был просунут в кольцо, вделанное в потолок, и висел свободно. Я сразу же подумала, а если она потянет сильнее конец полотенца, то и вытащит его из кольца. Так зачем же это? Но тетя Настя, увидев меня, не дала мне долго размышлять и закричала: «Маню-то возьмите отсюда!» Кто-то подхватил меня сзади и унес во двор.

[Переезд в г. Уржум. Жизнь в д. Антонково, под присмотром в знакомой крестьянской семье]

К осени мы вернулись в Уржум. Поселились мы вместе с одной знакомой женщиной, у которой был сынишка моих лет, в большой просторной комнате. Наши матери уходили с раннего утра на работу, а мы оставались не совсем одни: хозяйка дома и ее дочь, очень славная девушка, присматривали за тем, что мы делаем. Наши мамы оставляли нам на весь день нарезанные ломти черного хлеба, иногда смазанные постным или чухонским маслом, а иногда добавляли по куску сахара. Этот мальчик ясно выговаривал звук «Р», а я плохо: у меня к этому звуку добавлялся звук «Л» с мягким знаком. Мне было обидно, и я старалась, чтобы у меня вышло твердое «Р». Ошибка была в том, что я слишком близко прижимала кончик языка к нёбу. Но однажды вышло случайно чистое звучание, я запомнила, как это вышло, и долго еще практиковалась, пока не добилась ясного звука.

К зиме мы поселились с другой женщиной, у которой была девочка тоже моих лет, в большом деревянном доме в четыре окна на улицу, с мебелью, обычной в мещанских семьях. И тут уже с этой девочкой мы оставались совсем без присмотра. Мамы нам сказали, чтобы мы в их отсутствии никаким образом не выходили из комнаты на улицу и даже в сени. Дверь отворялась трудно. Ну а я играла да играла с этой девочкой и задумала выйти из теплой комнаты в сени. Отворила дверь из комнаты в сени легко, а вот из сеней открыть в комнату дверь не смогла. Дверь к тому же примерзла. Я просила девочку мне помочь, толкать дверь стулом, но и она оказалась слабой. Долго стояла я в сенях в одном легком платьишке, иззябла и, наконец, начала хныкать. Меня услышала с улицы проходящая женщина, подошла к наружной двери, спросила что случилось. Она сумела открыть внутреннюю задвижку входной двери в сени, открыла дверь в комнату, водворила меня на место, кто-то побежал за мамой. Я еще все слышала и видела много народа – соседок, видела, как быстро вбежала мама, как полетела с нее далеко в сторону шуба, а она бросилась ко мне. Я слышала, как кто-то предложил натереть меня водкой, и как сын столяра Данилы вызвался поскорее сбежать купить. Мне даже дали выпить водки, а потом я ничего не видела и не слышала. В общем, я скоро оправилась и ничем не хворала.

Вот после этого случая мама отдала меня в деревню Антонково, в трех верстах от города, в знакомую ей семью. Дядя Антон и тетя Матрена были очень хорошие люди, ко мне были ласковы, ничем не обижали, но тоже были очень бедны. Мама платила им за меня один рубль в месяц. Больше-то было и не за что: ни молока, ни мяса, ни скоромного масла. Только овощи: капуста, картошка, свекла, брюква, изредка гороховый суп, редко-редко чечевица. Чай с сахаром вприкуску. Вот и все питание. Белого хлеба и булок мы не видели. Большим разнообразием казались нам ватрушки с картофелем, пироги с отварным горохом и еще лепешки, испеченные на вольном огне на сковороде и смазанные постным маслом еще горячими. Я была настолько не избалованная, что вполне довольствовалась этим, только пареную свеклу не любила.

Мне настолько запомнились эти пироги с горохом, что когда я уже питалась хорошо, бежала я однажды в большую перемену из гимназии домой в базарный день и увидела, как на возу одна крестьянка ела пирог с горохом. Мне его так захотелось, что я на обратном пути, захватив из дома булку, подошла к ней и попросила поменять ее на пирог. Она так жалела, что съела и не могла меня угостить: «Я бы и без булки дала тебе».

У дяди Антона был взрослый женатый сын. Высокий, стройный, довольно красивый, но невеселый, всем недовольный. И больше всего – своей женой. Его жена Прасковья выглядела гораздо старше его. Больше молчала, только иногда принималась ворчать на всех, меня невзлюбила, но я как-то равнодушно выслушивала ее воркотню. Младенец их качался еще в люльке, я его так и не видела. Прасковья всегда выполняла всю домашнюю работу, а Михаил временами уходил в город на несколько недель на работу, а возвращаясь, опять становился хмурым, мало входил в семейные и хозяйственные дела.

Корова уже не давала молока, а лошадь дядя Антон купил вскоре после моего водворения у них осенью. Пошел в город, купил там лошадь, конечно, покупку вспрыснул, вернулся довольный, благодушный. Хвалился покупкой, говорил: «Да вы смотрите, какие у нее умные глаза!» Даже меня выгащил из избы, поставил прямо перед лошадью, но я в глазах лошади видела какую-то тоску, а не красоту. Удивительно умные бывают деревенские лошади, всю жизнь только работающие и плохо питающиеся. Помню такой случай много лет позднее. Ехали мы компанией на телеге, запряженной старой рабочей лошадью, вдоль деревенской улицы. Девочка, правящая лошадью, болтала, смеялась и мало обращала внимания на дорогу. Вдруг лошадь остановилась и, несмотря на понукания, не двигалась с места. Оказалось, что на дороге, почти вплотную к ногам лошади, стоял маленький белобрысый мальчик лет полутора, босой, в одной коротенькой

рубашечке. Он не понимал опасности и не двигался с места. А лошадка все понимала и не трогалась с места, чтоб его не задавить.

Михаил часто затевал ссоры с Прасковьей, а тетя Матрена всегда брала сторону Прасковьи. Из дома, что напротив их избы, каменного в пять окон, прибежала девушка: живая, говорливая, кокетливая и миловидная. Прибежит с большим платком на плечах, встанет посредине избы и весело болтает. Я слышала, как тетя Матрена один раз сказала, что эта девушка приходит к ним из-за Михаила, он ей нравится. А я подумала: «Так зачем же Михаила женили на Прасковье, а не на этой девушке»? Я совсем глупышка была, наверно это от кого-то услышала. Летом, пока было тепло, я бегала с деревенскими ребятами, рвали в огородах подсолнухи, грызли семечки. В конце деревни, сразу за избами, находился небольшой холмик, на вершину его мы не ходили, я и думала, что там больше ничего нет, конец, пусто. У последнего дома на лавочке сидел молодой крестьянин и плел что-то из прутьев, всех нас рассмотрел, а потом спросил про меня: «А это что за девочка?». Все ребята закричали: «Она из города!» А он как-то протяжно и ласково произнес: «А, значит, мешчаночка». Что это означало, я не поняла, но мне почему-то не понравилось. Отчего же я не такая деревенская, как они.

Куда только не водили меня эти любопытные и наполовину беспризорные существа. Один раз повели смотреть на свадьбу. Пришли мы гурьбой в дом, народу полно на всех лавках и посреди избы. Мы прошмыгнули на полати и оттуда, свесив головы, смотрели на все происходящее, но ничего интересного не увидели. Даже не разобрали, и в голову нам не пришло разбирать кто тут жених, а кто невеста. Как раз шло битье глиняной посуды на счастье поженившихся. Принесет какая-нибудь крестьянка глиняную чашку или горшок уже с трещиной и предлагает ее купить, запрашивая большую цену. Все начинают критиковать посуду, стараясь выразиться поостроумнее, что вызывало громкий смех. Дело кончалось тем, что посудина летела на пол и разбивалась на мелкие куски. Весь пол был усыпан черепками. В другой раз они повели меня в дом, где только что похоронили хозяина и шел поминальный обед. Мы также с полатай осмотрели стол, беседующих и слегка подвыпивших гостей, тихо и деловито обсуждающих свои заботы.

Умерла одна девочка, которая с нами играла, ее мать устроила поминки по ней, созвала ее подружек, в том числе и меня. Изба была просторная, не то что у дяди Антона, очень светлая, чистая. Полы и скамейки выскоблены и вымыты, занавески и полотенца сияли белизной, все было вышито. Мне было всего четыре с половиной года, но и теперь я отчетливо вижу эту чистую и уютную избу. В переднем углу был накрыт белой скатертью стол, на нем стояли одинаковые небольшие чашечки, глиняные или деревянные – не разобралась, около каждой чашки лежали ложка и небольшой хлебец. В самом центре под иконой около прибора горела свечка, хозяйка объяснила нам, что это прибор для умершей ее дочери и никто не должен туда садиться. После угощения мать девочки достала сверток красной шелковой ленты и всем нам нарезала по одинаковому кусочку на память о дочке.

А к концу лета ребята увели меня на «промысел». Деревня со стороны поля была огорожена реденьким забором из жердей. У нас такая ограда называлась пряслом. Для въезда были построены большие двухстворчатые ворота, которые замыкались засовом. Через деревню эту проезжали на пароходную пристань реки Вятки. Всякому едущему надо было остановить лошадей, сойти, открыть ворота, возвратиться и пропустить экипаж, опять остановить лошадей и идти закрывать ворота. Морока! И вот, оказывается, малыши пристроились открывать и закрывать ворота каждому проезжающему, а проезжающие не оставались неблагодарными. Совали конфетку, пряник, кусок булки, даже копейку-две, кто был побогаче и добрее. Около ворот для чего-то был построен новенький сарайчик, очень небольшой, без окон, с высоким крылечком в несколько ступеней. Вот мы тут на ступеньках и сидели. Все принимаемые дары складывались прямо на доске верхней ступеньки, а по окончании работы, перед тем, как разойтись по

домам, все делилось поровну. Всякий кусочек булки ломался на одинаковые дольки, а на копейки мы покупали в лавочке конфеты. Так я дежурила с ними несколько раз.

Глубокой осенью в деревню вошел табор цыган, из-за холода они расселились по избам крестьян. Женщины большей частью оставались дома, а мужчины отправлялись промышлять. Цыганят было множество. У дяди Антона тоже остановилась небольшая семья. Сам глава семейства, уже немолодой цыган, чем-то заболел, лежал и вздыхал. Привели лечить его старую цыганку. Я смотрела внимательно за тем, как она будет лечить. Она принесла с собой красные камешки вроде кирпичика цветом, потеряла их, получившийся порошок высыпала в стакан с водой и с какими-то непонятными словами велела цыгану выпить эту красноватую воду. Полежал он еще день и встал, а еще через день ушел искать работу. Цыганки больше промышляли гаданием, а мужчины починкой металлической посуды, лудили, запаивали, очень чисто умели отчищать нагар и грязь.

Из медного пятака и трехкопеечной монеты выдывали кольца, такие чистые, яркие, словно золотые выходили из их рук. Настала зима. Такой свободы бегать на улице уже не было. Чем-то приходилось заниматься дома. Игрушек у меня никаких никогда не существовало. Зимой раз подъехал к нашей избе на розвальнях мужчина, одетый в длинное широкое пальто, в необыкновенной шапке. Он вошел в избу, перекрестился перед образами в переднем углу, всех благословил, о чем-то поговорил.

Тетя Матрена забеспокоилась, забегала, взяла небольшой мешочек муки, заранее приготовленный, унесла его на розвальни, а ему вручила каравай свежего, только что выпеченного хлеба. Он объехал всю деревню и везде ему что-нибудь давали, смотря по своим достаткам. Оказывается, я была свидетельницей так называемой «руги» - сбора священниками приношений от прихожан, который проводился один раз в год.

Тетя Матрена и Прасковья по окончании домашних работ начинали прясть свой обработанный лен, а я смотрела на них. Тетя Матрена пряла, скручивая нитку на веретено, а Прасковья пряла на самопрялке. Однако, «само» тут было очень мало. Лен был привязан к обыкновенной прялке. Нитку она тянула и сучила своей рукой, и только готовая нитка наматывалась на колесо, движущееся нажатием ноги. Преимущество прядения на самопрялке состояло в том, что нить можно было наматывать на самопрялку какой угодно длины без обрыва. В то время как длина нитки на веретене была короткой. Подсела я как-то к простой прялке и попробовала тянуть и сучить нить. Для забавы мне сделали маленькую прялку, привязали к ней нечесаный лен (куделю) и я начала учиться прясть.

Садилась не на скамейку, а на голбец – приступок между русской печью и полатями. Вообще-то изба была крошечная, в два маленьких окна на улицу и одно с боку в огород. В переднем углу стоял стол, а вдоль стен скамейки, у нас их называли лавками. Ночью мы размещались так. Влево от входной двери стояла кровать Прасковьи и Михаила, дядя Антон спал на печке, а я с тетей Матреной на полатях. Михаил, бывало, остановится около меня и удивляется: «Да ведь она по-настоящему прядет, смотрите-ка!».

И оказалось, что к весне я напряла много. Тетя Матрена очень хвастливо говорила: «Пять пасм сороковых». Только позднее я узнала, что это значит. Все однородные напряденные нитки наматывались на мотовило – обструганную гладкую толстую палку с раздвоением на обоих концах, сделанную из целого куска дерева. Ниткой цельной считали полный оборот на мотовиле, а размером он был в размах рук взрослого человека. Так вот, я, оказывается, напряла пять мотков по сорок ниток. Нить была, конечно, неровная, но годилась на ткань мешковины, половиков. Так что я, играя, делала полезное дело.

Когда кончился у них период прядения, в избу внесли ткацкий стан. Занял он места в половину избы. Ткала Прасковья из своей пряжи, вымытой, окрашенной: были цвета красный, синий, зеленый, коричневый. Подавать основу в стан посадили меня. Иногда

Михаил начинал меня учить считать. Все хорошо шло до десяти. Тут в сложении пять плюс пять резко разошлись мы и дальше не пошли. Он говорил, что пять и пять будет десять, а я говорила ему: «Что ты говоришь! Пять и пять будет одиннадцать». Мой учитель не мог разобраться, что я букву «и» считала цифрой «1». Михаил сердился. Был у них какой-то праздник, пришли гости, поэтому обедали лучше, чем всегда. В числе блюд была гречневая каша. Этого у нас раньше не было в нашем меню. Каша мне так понравилась, что спустя некоторое время после обеда я попросила у тети еще этой каши.

«Да что ж ты раньше не попросила, ведь всю съели». Я была очень огорчена. Пришли в разное время сначала мама, потом отец, и я пожаловалась маме, что мне не дали гречневой каши. Мои родители долго разговаривали, мне казалось, что они спорили о чем-то. А меня попеременно держали на руках то мама, то отец возьмет.

Ближе к весне тетя Матрена пошла в деревенскую лавочку, чтобы купить сахару, и взяла меня с собой. Надо было пройти до конца нашу улицу, потом перейти мостик через речку, и там тянулась вторая улица, на которой я была только один раз, когда ребята ходили туда летом, чтобы показать мне здание школы. Это была такая же деревенская изба, темноватая, стены были синие, или покрашенные, или оклеенные синими обоями. Ничего в ней меня не привлекло. Теперь я ждала, где же лавка? Подошли мы к одному дому в три окна, чуть повыше, чем другие деревенские дома. Вышла хозяйка, поговорила с тетей Матреной, затем подошла к небольшому окошечку у самой земли и сдвинула с него ставню. Затем повела нас во двор и оттуда в подвал под домом, освещенный лишь этим маленьким окошечком. Не был здесь ни полук, ни весов, ни каких либо товаров. Однако хозяйка вынула откуда-то сахар и продала нам. А когда мы шли, нам встречались незнакомые мне крестьянки и спрашивали тетю Матрену: «Откуда у тебя такая девочка?». На что тетя Матрена отвечала: «Это моя богоданная дочка!» И тут же хвалила меня, что я напярла пять пасм сороковых, и те очень удивлялись.

Весной закончилось мое житье у дяди Антона. Пицца была постная, никаких жиров, у меня и у Прасковьи заболели глаза, говорили «куриной слепотой». Мы не могли смотреть на свет. Особенно солнечный свет причинял глазам резкую боль. Открою на минуту глаза, возьму в одну руку кусок сахара, в другую чашку с чаем и пью зажмурившись.

[Жизнь в Уржуме отдельно от отца]

Мама меня взяла в город, где она в то время уже не жила с отцом, и на поденные работы не могла ходить, потому что у нее стали болеть ноги и руки. Ей пришлось идти работать за няньку и кухарку в одну многодетную семью небольшого чиновника.

Первое, что я услышала в этой семье, это разговор хозяйки Марии Петровны с мамой. Мария Петровна говорила, что если я буду жить с мамой, то плата за работу должна быть меньшей и предлагала один рубль пятьдесят копеек в месяц. Мама не соглашалась. Воду носила им особая водоноска, тихая женщина, немного горбатая, по копейке за два ведра. Дети играли со мной. Я удивлялась, что они ели закаленную глину, отколупывая ее от печки. На мои именины Мария Петровна подарила мне коробку конфет. Я была рада, что у меня есть такая красивая коробочка, отделанная красным шелком и цветными картинками. Такие коробочки у нас называли бонбоньерки. Но конфет ела мало, всех угощала, отнесла отцу в больницу, но очень испугалась его. Он вышел на костылях в белом халате. При тушении пожара, случившегося в городе, у него была разбита ступня правой ноги. Он заходил к нам иногда, выйдя из больницы, и я понемногу приглядывалась к нему, ведь мне шел уже пятый год. Но была равнодушна к отцу совершенно, да и он не делал никаких попыток сближения со мной. Иногда он приходил просить у мамы взаймы,

мама сначала молчала, но всегда давала, а вот возвращал ли он, я не знаю. Раз он принес мне платье, белое, шерстяное, отделанное кружевами. Но оно было до того роскошно, празднично, что я его не носила. И откуда он его взял, видимо купил где-то случайно. В нашем городе не было магазина готового платья.

[Священник Ипполит Мышкин]

Семейство, где работала мама, жило в нижнем этаже каменного дома, принадлежавшего главному священнику нашего собора, протоиерею отцу Ипполиту. Один раз, когда я сидела на скамейке у ворот, он, возвращаясь из церкви от обедни, вынул большую белую просфору и протянул ее мне со словами: «Кушай, сиротиночка, кушай». Такой подарок я взяла охотно, но раздумалась о том, почему он называет меня сиротиночкой, ведь у меня есть мать и отец. И так он несколько раз награждал меня просфорами и все с такими же словами. Знал ли он что-нибудь о нашей семье или просто часто видел меня сидящей в одиночестве на скамейке. Жил он со своей старенькой сестрой. Когда я за чем-нибудь поднималась к ним наверх, она давала мне сушеный урюк. Что это был за фрукт, я не знала и ела его неохотно. Название его сказала мне мама.

С детьми мама ходила в собор, раз взяла и меня с собой, в конце обедни подвела нас к причастию. Мне очень понравилось это причастие, в следующее воскресенье я одна пошла в церковь, благо мы жили близко от собора. Долго ждала, когда вынесут чашу с причастием, а потом подошла вместе с другими детьми. Я запомнила хорошо, что надо на вопрос как зовут, ответить – Мария, и получила ложечку вкусного питья. Играла я и с соседскими детьми разного возраста из большого одноэтажного деревянного дома рядом. Занимались там тем, что пекли пряники и сушки на продажу. Старшая девочка командовала нами....

Проходило лето, маме все становилось хуже. Отец звал меня к себе, но я отказывалась, не привыкла к нему. Однажды он договорился с мамой, чтобы я обязательно пришла к нему в назначенный день со своим зимним пальто, чтобы отдать его в ремонт. Вот пришел этот день, мама завернула пальто и послала меня.

Я плохо осознавала, где живет отец, знала только, что в нижней части города. Спустившись с горы, я дошла до Казанской церкви и остановилась отдохнуть. День был солнечный, было еще тепло, и я уселась на каменный цоколь решетки. Так было уютно и приятно, что я подложила под голову пальто и долго лежала, а потом преспокойно вернулась обратно к маме, соврав ей, что была у отца, но дома его не застала. На самом-то деле мне просто было непонятно куда идти и зачем.

Но потом отец стал меня брать к себе и оставлять на несколько дней. Скучно мне было у него... Отец жил не один, а с Дуней в маленьком домишке. Вокруг домика простирался громадный пустой участок, ни кустика, ни деревца, ни возделанных грядок. Вдали, на холмике, поросшем травой, росла даже лесная земляника. Отец и Дуня часто ссорились. Однажды ночью отец разбудил меня, одел, взял за руку и сказал: «Пойдем ночевать к матери, если эта гонит нас, а не то еще зарежет». Шли мы с ним по темным улицам, я дрожу от холода и сырости, сонная, ничего не понимаю. Он молчал, потом вдруг остановился и сказал: «Пойдем домой». Повернули обратно. Он тихо поговорил с Дуней, положили меня спать, и сами, как ни в чем не бывало, спокойненько улеглись.

[Начало болезни матери]

А маме моей становилось все хуже. Уже не могла она и у Марии Петровны работать. И пришлось ей пойти со мной к отцу. И вот тут-то я увидела отца в первый раз пьяным.

Уйдет из дома и долго его нет. Работа стоит, денег нет, рабочая сила одна – Дуня. И я помню хорошо, что молчаливая Дуня никогда ничем не упрекала мать и меня. Обоим им жилось несладко. Маму отец, приходя домой выпившим, начинал упрекать, что вот уходила от него, а все равно пришла к нему же. А Дуню он просто ругал, а потом стал пускать в ход и кулаки. Иногда утром встанут, надо бы чаю попить, а денег нет, и ни куска хлеба в доме. Я так привыкла к такому существованию, что и далее никогда не чувствовала голода. Есть что-нибудь поесть – хорошо, нет ничего – все равно никакого горя. Бедность и недостаток мы не считали горем. Подрастая, слушая разговоры старших, у меня создалось твердое убеждение, что все люди делятся на бедных и богатых, а почему так – не рассуждала. Я еще не училась в школе грамотности, а откуда-то узнала, что есть банки, куда богатые кладут деньги и на эти деньги живут, другие же должны работать. Я была наблюдательна и очень часто раздумывала, глядя на дома небогатых горожан-мещан, которые никуда не ходили работать: а на что же они живут? Вот, у Мотовилова семья большая, все взрослые и все сидят дома, а откуда деньги у них?

Раз как-то утром в воскресенье взрослые захотели чаю и что-нибудь вкусного, не черного хлеба. Но оказалось, что у них нет ни одной копейки в кармане даже и на черный хлеб. Тогда кто-то вспомнил, что у меня есть накопленные семь копеек, это как раз на полфунта сушек. Меня же и послали купить их.

[Пекарь Попов, изготовление сушек]

Ну и сушки были у Попова! Таких аппетитных сушек я больше нигде не встречала. Попов был старовер, очень серьезный и важный. Жил он на той же улице, где и мы, но в своем добротном доме. Недалеко от дома была пристроена для работы крошечная мастерская с окном на улицу, где приготавлилось тесто. В противоположную от окна стену было вделано металлическое кольцо, куда был вставлен подвижный деревянный рычаг: чистый, обточенный, некрашенный. Им двигали, чтобы замесить тесто, лежащее под рычагом. Я подолгу стояла у окна и смотрела как работник, одетый в белый передник, месил тесто. Положит рычаг на тесто, а чтобы посильнее нажать, сядет на другой конец рычага. Потом дальше переложит рычаг и опять сядет и надавит. Вот и вся техника. А уж как пекли – я не видела. Попов изготавливал сушки один раз в неделю, продавал оптом, но не ленился пойти в сарай, где они хранились, чтобы взвесить полфунта. Придешь к нему в дом, он возьмет ключи и поведет в сарай с очень чистым дощатым выскобленным полом. На полу посередине было послано белое полотно, на нем пирамидой лежали сушки, нанизанные на мочальные нитки. Такой здесь стоял вкусный аппетитный запах!

Однажды отец вернулся домой днем выпивший, ему захотелось молока. Дали ему стакан, как раз оно было у нас. Он глотнул и с пренебрежением произнес, что молоко жидкое, худое. И тут я выскочила и ответила ему: «А ты еще и за такое молоко не заплатил!» Ух, как он рыкнул на меня, мама и Дуня замерли, что же будет... А я живо выскочила из избы во двор, встала за входной дверью в сени, больше на таком голом участке и спрятаться было негде. Но все обошлось как-то тихо, я ничем не потерпела за такую дерзость. Иногда отец говорил мне ласково, что он меня любит и послушался бы меня, если бы я сказала ему: «Ложись спать!», когда он приходит выпивший. Но я не подходила к нему сама, ни с разговорами, ни с лаской. Был он мне чужим...

С прибытием мамы и меня стало нам тесно в этой маленькой избушке. Мы переехали на другую квартиру, где было две комнаты и хорошая русская печка. Дом был двухэтажный, низ каменный, а верх деревянный, четыре окна по фасаду. На обоих этажах было по две квартиры. В одной квартире внизу поселились мы, в другой – семья крестьянина, выходца из деревни, тоже беднота. С их дочерью Федосьей я играла... Жили мы с этими соседями мирно.

На втором этаже в одной квартире жили сами хозяева, Федор Иванович и его жена Михайловна. Федор Иванович, седой, крепкий, молчаливый, всегда был занят по хозяйству на своем дворе. А Михайловна много гуторила с жильцами. Оба они хорошо относились к своим квартирантам, не придирались, помогали, чем могли. В другую квартиру на втором этаже переехала большая семья, все взрослые. С нами со всеми они не хотели знаться, смотрели свысока. Какие-то были сухие, жесткие. Хорошо помню этот двор, он был достаточно чистый, по крайней мере, там, где находился колодец. Кроме новых приезжих все жили дружно. Было еще тепло к концу лета. Кто был свободен, выходил во двор отдохнуть, погреться на солнце, посудачить. Вот так, однажды, в ясный теплый день сидим мы на дворе, вдруг слышим грохот. Это с верхнего этажа вниз по лестнице скатилась прямо во двор старуха из квартиры новых жильцов. А мы и не знали, что у них есть в семье такая древняя старуха! Подняли ее, посадили на скамью на солнышко и, о, ужас, что мы увидели.... На ней была надета одна рубашка из холста и такая грязная, такая залощенная, что была похожа на черную кожу. И сама старуха была как сажей покрытая, на вопросы ничего не отвечала. Все бывшие во дворе женщины нагрели воды, посадили ее в корыто, отмыли грязь, принесли чистое белье: рубашку, кофту, юбку. А ее грязную рубаху выстирали и повесили на солнце сушить. Старуха все молчала, точно ничего не соображала, и все что-то искала около себя руками. По ее движениям поняли, что она голодная, принесли ей хлеба и супу, что у кого было. Наелась старуха и чистая пошла домой, то есть ее проводили по двору и по лестнице до дверей ее квартиры. Вот до чего довела эта гордая, заносчивая и сытая семья свою ненужную им старуху! В тот день ее семейные сидели у себя тихонько, ни слова, ни звука от них. Наверно, побаивались выйти даже во двор к колодцу, слыша, как упрекали их за бессердечность жильцы во дворе. С тех пор у нас сделалось обычаем приносить этой бабушке хлеб, суп, картошку. От нашей семьи приходилось уносить съестное мне: молча возьмут нашу скудную подачку, перельют суп в свою посудину и кусок хлеба возьмут... Это зажиточные-то люди! Старуха, может быть, и ела, но умерла в ту же зиму. И какие богатые похороны сделали ее родственники! Назвали таких же сухих мещан, откуда и откопали их, к ним в обычное время мало кто приходил.

Федор Иванович торговал мелочью, но не в городе, а ездил по ярмаркам, которые часто устраивались по селам и деревням. Положит товар на свою телегу, запряжет сивенькую лошадку и возьмет с собой собаку. Была у нас во дворе такая рыженькая с густой шерстью, звали ее Жулик. Откуда она взялась, никто не знал, но привязалась к дому, к хозяевам, к жильцам. Была она умненькая, сообразительная и ласковая. Мы все ее любили, это была наша общая любимица. Приедет Федор Иванович на ярмарку в село, товар его покрыт суровым холщевым материалом, посадит Жулика на воз и уйдет по своим делам, иногда и надолго. Жулик стережет оставленный воз, и никогда не бывало, чтобы кто-то покусился на товар, видя такого сторожа.

Рядом с нами жил в своем собственном небольшом деревянном домике портной с женой. Он всегда был мрачен, смотрел сердито на мир и на людей, к нашему двору он, конечно, не питал добрых чувств. Летом он подзывал к своему окну нас, ребят с улицы, и дарил каждому по цветочку. У него стояла около окна огромная «китайская роза», цвела обильно. Вот он оберет уже процветающие розы и дарит их нам. И что ему пришло в голову: он вдруг днем выстрелил из окна в нашего бедного Жулика и смертельно ранил его. Мы все были так огорчены, так жалели собаку, а портного бранили вовсю. Умер наш Жулик под вздохи и слезы, а наш хозяин подал на портного в суд.

Рассказывали, что портной на суде оправдывался тем, что будто бы Жулик набросился на проходящую мимо девочку. Но это был вздор. Портного не оправдали, оштрафовали, так как все свидетели, все живущие около нас соседи показали на суде, что никогда не видели Жулика злым. Никого он не укусил, это был добрый и милый домашний песик.

Было мне уже шесть с половиной лет. Еще до школы был со мной такой случай, переполюшавший весь двор. Сидели мы всей семьей за столом, пили чай, на столе стоял кипящий самовар. Вдруг стол качнулся, самовар опрокинулся в мою сторону. Крышка его открылась, и кипяток хлынул на меня. Соседи во дворе бежали с советами, с постным маслом, с мылом, а наш хозяин поскорее запряг свою лошадку и повез нас мамой в больницу. У меня были облиты подбородок, шея, вся левая рука, вплоть до пальцев. Как жестоко тогда лечили! Кожа на руке вся вздулась, фельдшер сначала разрезал рукав платья, потом срезал всю вздувшуюся кожу, чем-то намазал и забинтовал. Ожог на подбородке и шее скоро зажил, а с рукой я промучилась всю зиму. Надо было чаще водить меня на перевязки, да и лечение было не очень эффективное. Часто бинты присыхали к ране, тогда в больнице ничего другого не придумывали, как отмачивать бинты от раны холодной водой. Это было невыносимо неприятно, я ревела во всю мочь и даже один раз дернула фельдшера за бороду. Только к весне рана зажила без больничных перевязок. Нашлись доморощенные врачи, посоветовали присыпать рану сухим овечьим навозом, измельченным в порошок, и ничем ее не закрывать (!). Что тут помогло, сказать трудно. Сушил ли этот порошок, или рана лучше заживала на открытом воздухе, но очень скоро она затянулась и зажила, оставив только легкий белесоватый шрам.

Потом, к лету, мама заболела чем-то. Лежала, тяжело дышала, вся красная, почти без памяти. Пришел наш городской врач и сказал, что у нее горячка, дома она не выздоровеет, надо вести в больницу. Кто ее увез, у меня вылетело из памяти, а мы никто ее не проводывали, не навещали. У нас, среди населения нашего класса, конечно, бедного, не было такого обычая, чтобы навещать больных. Но мама и без нас выздоровела, возвратилась худая, бледная, стриженная; в нашей больнице всех стригли.

[Церковно-приходская школа]

В августе некоторые знакомые мне ребята пошли в школу. Мне шел уже восьмой год, и я сказала маме, что тоже хочу учиться. Она как-то просто, равнодушно ответила мне: «Иди». А куда идти, кого спросить, что там внутри школы – я не знала. Тогда Саня, Дунин сын, который раньше на год поступил в церковно-приходскую школу (близко от нашего жилья она была), утром привел меня туда и сказал учительнице первого отделения: «Вот эта девочка тоже хочет учиться». Учительница была молоденькая девушка, вряд ли кончила 4 класса гимназии, спросила как меня зовут, на что я ответила: «Мария» (как в церкви), а вот какая моя фамилия – сказать не могла. До сих пор она при мне не произносилась, и мне была ни к чему. «Спроси родителей, какая фамилия, я тебя запишу, а теперь садись вот на парту и учись». Вот и вся была процедура приема в школу. Никаких документов, никаких осмотров. Пришла я в школу уже спустя несколько недель, но я скоро догнала их в чтении, а в счете мне было легло. Во время болезни, когда я обварилась кипятком, мне пришлось много сидеть одной дома, игрушек никогда не бывало, я играла наструганными палочками и при помощи этого самодельного пособия выучилась считать до ста, могла складывать и вычитать в пределах сотни, но не отвлеченно, а все считала по палочкам.

Какова была обстановка в городских начальных школах грамотности – не знаю, но наша церковно-приходская была очень бедна. Помещалась она в нижнем полуподвальном этаже каменного дома, принадлежавшего священнику Казанской церкви отцу Михаилу. Было всего три, но довольно просторные комнаты. В одной, самой большой, куда велась дверь из сеней, частично перегородженной, помещались I и III отделения, в обоих занималась одна учительница. Во второй комнате, поменьше, находилось II отделение со своей учительницей, и наконец, третья комната, с одним окном во двор, темноватая и всегда пыльная, служила раздевальной. Небольшие окна нашей школы начинались сразу с

земли, но с 9 утра и до 2-3 часов дня всегда было светло и зимой. Никакого искусственного освещения не было, ни одной лампы нигде. В пасмурные дни меньше читали.

Проучилась я в этой школе три зимы, но никогда не видела, кто здесь прибирал ее, кто наводил чистоту в наших классах и в раздевалке. Возможно, это делала домработница отца Михаила, во избежание лишних расходов. Голые серые стены, ряды черных четырехместных парт и только во втором отделении стоял небольшой неказистый канцелярский шкаф, где верхнюю полку занимала наша школьная библиотечка, на других хранились наши тетради, чернильницы, ручки, грифельные ручки и вообще всякое школьное казённое добро. Шкаф запирался по окончании занятий.

В начале учения мир для меня сосредоточился только в нашем отделении, и что там происходило в других, кто там занимался, я долго не воспринимала. Наша же учительница была молоденькой и только читала да считала, больше мы ничего от нее не слышали. Выдали нам казенные книжки: одну на весь учебный год. Тут и азбука и рассказы, дальше славянская азбука и молитвы на славянском языке. Мне было очень досадно, что все рассказы в нашей книжке были коротенькие. Для письма – грифельные доски и по одному грифелю, тоже казенные, а после истраты его должны были приобретать грифель сами ученики. Книжки и доски давались на дом, а для чистописания, что считалось главнейшим уроком, выдавались тетради линованные. Которые по окончании урока отбирались и хранились в шкафу, как и чернильницы и ручки.

На грифельной доске мы учились и буквы писать, и задачи решать. Что не напишешь, сотрешь за ненадобностью и опять чистая доска для следующего употребления. Рисовали на них, что умели. Мальчики, бывало, нарисуют лихих коней с гривами и длинными хвостами, мы, девочки, рисовали больше домики, и чтобы обязательно из трубы шел дым. Грифели часто ломались, писали мы ими до последнего маленького кусочка. Стоил он копейку, но и это не всегда бывало у ребят. Грифельные доски нам служили и во II и III отделениях для решения задач. Со второго отделения мы учились писать и под диктовку, для этого тоже давали казенные тетради, а после урока тоже отбирали. Когда мы разучивали азбуку в I отделении, к нам иногда посылали почитать мальчика из III отделения. Помню, один такой «учитель» заставил меня прочесть слово «шкура», не давалось оно мне, а мальчик не смог и сам мне помочь, как сложить это слово.

Попечителем нашей школы был тот же священник Казанской церкви отец Михаил. Иногда он приходил в I отделение. Однажды он захотел нас проэкзаменовать: как мы читаем. Дошла очередь до меня, я ему и сказала, что вот эти слова я не только читать, но знаю и наизусть (это были слова на букву «н»). Он сначала удивился, потом покачал головой неодобрительно и сказал: «Вот это уже нехорошо». И я не поняла, что плохого я тут сделала.

Что-то долго мы тянули слова по складам, и это было скучное занятие. Как только мы прошли азбуку и стали читать мелкие рассказы, но все еще по складам, мне захотелось читать так, как учительница: произносить слово слитно сразу.

Такой опыт я произвела дома. Взяла книжку, раскрыла длинный рассказ «Колодец» и старалась читать сразу по словам. Конечно, такие маленькие слова, как «там», «тот», «где», «наш» получались у меня с первого взгляда на них, а длинные слова надо было складывать. Но меня и этот маленький успех окрылил, на другой день я сообщила об этом учительнице. Но она сначала тоже долго глядела на меня, а потом прямо огорошила, строго сказав: «Вот и нехорошо сделала».

Скоро эта молоденькая учительница исчезла, а вместо нее пришла очень пожилая, высокая, седая, строгая, невеселая, смотрела на нас не только неласково, но как-то пренебрежительно; всегда на ее лице появлялось насмешливое выражение, такое пренебрежительное, как будто мы какие-то козявки. Тогда начались правильные занятия и в III и I отделениях, но эта учительница занималась равнодушно, сухо, не давала нам ничего для души и развития. Она была вдова священника. Видела я и ее двух дочек, лет 13, 14, здоровые и розовые девочки, но с такой же неприятной усмешкой. Помню такой эпизод. В нашем мещанском лесу мы набрали порядочно рыжиков. Вздумалось моей тете послать меня к учительнице, предложить за пятак чашку самых мелконьких грибов. Посмотрела она на грибы и спрашивает, какие же грибы внизу положены, верно вся мелочь, больших нет? Я на это ей со вздохом и сожалением ответила: «Ох! Еще мельче внизу».

Мы еще в I отделении научились читать по церковно-славянски, выучили наизусть очень многие молитвы: «перед учением», «после учения», «Отче наш», «Достойно есть». Заучивали с учительницей. И с этой учительницей мы расстались скоро, так как во втором отделении всегда занималась уже не один год Августа Ивановна Демина, немолодая, ровная характером, участливая к нам, мы ее любили и слушались. Из I отделения всех перевели во II и довольно рано, в мае месяце нас отпустили на все лето.

Как только я поступила в школу я стала ходить в церковь и к обедне, и ко всенощной. Мне и дома внушали, что надо молиться, а как молиться, я не знала. Стою, бывало, в церкви, поворачиваюсь то туда, то сюда, то разглядываю публику, то настенную живопись, а потом вспомню, что надо молиться и принимаюсь креститься и просить Бога дать маме здоровья.

На Рождестве еще затемно мы пошли с Саней к заутрене, отстояли и обедню и довольные, но голодные пришли домой отдохнуть. Дома уже все на ногах: топится печь, подметают пол, что-то варят и пекут. Пол у нас всегда был чистый, выскобленный добела и покрывался половиками. Старшие редко ходили в церковь, но были серьезны и благодушно праздничны. На столе кипящий самовар, чай с молоком, свежесдобленные булки, сахар, конечно, вприкуску. Пришел отец Михаил с причтом, отслужил молебен. На божнице уже лежали отложенные ему 20 копеек. У нас это считалось хорошим вознаграждением от бедняков, и батюшка к нам приходил к одним из первых на нашей улице. А затем, как всякий трудовой народ, все хотели отдохнуть и легли спать, а я осталась дома с книжкой и грифелем у стола, и мне стало скучно: зачем так скоро кончился праздник, зачем легли спать, со мной не поговорили.

[Неустройство семейной жизни родителей]

Как хорошо, что школа отвлекала меня от неустройства нашей жизни семейной; теперь, после окончания занятий в школе, все мое внимание сосредоточилось на непонятные для меня семейные явления. Отец все чаще стал приходить домой пьяным, иногда поздним вечером. Ждем его, все мы какие-то подавленные. Мать уложит меня спать, убавит огонь в лампе, но сама не ложится. Мне идет восьмой год, но я не могу уразуметь, отчего у нас такая тревожная жизнь. Придя домой, отец, прежде всего, к чему-нибудь придирается: «нехорошо что-нибудь», «не так сделано», потом начинал попрекать маму, что хотя и уходила от него, но вот все-таки пришла, а потом начинал разговоры с Дуней, разъяривался и начинал жестоко ее бить кулаками и топтать ногами даже. Один раз она, измученная, выбежала во двор, хотела в колодезь броситься, так отец догнал ее, схватил за косу и буквально приволок по земле в дом. И я, и бедный Саня молчали, делали вид что спим. Отец всегда говорил, что дети должны ложиться спать в 8 вечера, а сам так

шумел, что в доме и другие жильцы не спали, не только мы, дети. Ох, как я невзлюбила отца, никогда не подходила к нему с лаской.

Раз был такой трагикомичный случай. Отца не было весь день; ясно было, что снова придет пьян и раздражен. Мама ушла наверх к Михайловне и там легла на русскую печку, может быть озябла, дома топили печку не каждый день. Я спустилась вниз в свою квартиру, и как раз вернулся отец пьяный, взвинченный, и сразу заметил, что мамы нет дома. Стал спрашивать меня, где она, а я по своей детской глупости сказала, что мама у Михайловны лежит на печке. Он взял меня за руку и понесся наверх. И вдруг он видит, что мамы на печке нет, а вместо нее лежит мужчина, знакомый хозяевам, который часто у них останавливался, когда приезжал в гости. При посторонних людях отец никогда не шумел, был вежлив с другими, сдерживался. Не говоря ни слова, он опять схватил меня за руку, понесся обратно в свою квартиру и тут уже дал волю своему раздражению: «Вот кто ее защищает, так вот пусть же он и покупает ей все!». И с этими словами раскрыл мамин сундук и стал рвать ее одежду: возьмет платье, юбку, блузку – рвет пополам. И так все было с большим трудом приобретено мамой, и мало было, но он не рассуждал, вдруг его разобрала ревность, а сам-то что делал? Может быть, хотел оправдать себя?

Утром показывают ему, вот что он наделал. Ему было так неловко, так стыдно, головы не поднимал. Пришел сосед, столяр Данила, смеясь, говорит ему: «Ты бы, хотя пришел ко мне за аршином, чтобы поаккуратнее рвать». Бедная мама просидела много дней, сшивая все разорванное. Купить новое было уже не на что. Да и раньше она одевалась всегда на свои небольшие заработки. Отец как-то раз был оштрафован за «нарушение общественной тишины», где-то пошумел в компании, но платить не захотел штрафа, решил лучше назначенный срок отсидеть в арестном доме, но и там ему не понравилось, да и гордость страдала. На другой же день меня послали его навестить. Смутные сведения были у меня об арестном доме, чем-то вроде острога я представляла его себе. Таковой я видела на углу Сенной площади, серый каменный дом, обнесённый высокой каменной стеной. Но мне сказали, что надо идти в переулок от Казанской церкви и там найти дом, выкрашенный желтой краской. Шла я с боязнью, но по мере того как приближалась, страх пропадал.

Переулок был обычный, никаких каменных стен вокруг домов, а на одном двухэтажном деревянном доме, на балконе увидела отца. Он уже поджидал кого-нибудь из нас. Мы так и поговорили на улице. Он наказал мне сказать маме, чтобы она продала свой теплый жакет, чтобы заплатить штраф. Мама, конечно, продала быстро и задешево, а я очень пожалела, он сверху был покрыт каким-то пушистым материалом (вероятно плюшем черным с маленькими белыми горошками). Сама же мама, когда уж очень нужны были деньги, никогда, как и отец, не просила ни у кого, не занимала, а брала что-нибудь из одежды и закладывала по соседству за гривенник, за 20 копеек, и заложенное часто оставалось не выкупленным. Мама еще тихо-тихо ходила, и хотя у нее болели и ноги и руки, она иногда старалась что-нибудь поработать. Ходила в одну знакомую семью чиновника готовить по торжественным дням.

Раз мы с ней пошли в соседнюю деревню жать. Мама смогла нажать только три груды (в груде 10 снопов), получила 9 копеек за весь день. Я тоже пробовала серпом порезать колоски, но у меня ничего не вышло. Помочь я не могла. Несколько раз ходила она работать к колбаснику Адамскому и там, кроме платы, ей давали домой колбасы и ветчины. Но скоро и эти случаи работы ей пришлось оставить.

На этой квартире у Федора Ивановича мы прожили до осени. Когда я уже начала учиться во втором отделении мы переехали на другую квартиру. Приходила к нам несколько раз одна почтенная женщина, Яковлевна, и стала уговаривать отца переехать на

квартиру в дом ее отдаленной родственницы, очень древней старухи. Уговаривала, что и платить не надо за квартиру, только жить с ней, а то она совсем одинокая.

Чем она соблазнила отца – не знаю; корыстным он не был, и квартирная плата не превышала тогда 1-1,5 рубля в месяц, но он согласился, мы переехали к старухе. Поселились мы, и тут увидели, что эта женщина какая-то одичавшая совсем, молчаливая, ничего от нее не добьешься, ни слов, ни звука, ничего не имеет съестного. Как она жила! В доме ни крошки хлеба, ни крупинки, сама никуда не выходила и не выходит, и у других ничего не просит. Лежит себе на русской печке целые сутки. Понятно, что отец стал ее звать всякий раз, когда мы садились обедать или чай пить. За ней посылали тоже меня. Подергаю ее за рукав, покричу, чтобы она шла. Она слезет с печки, поест и опять туда же. Одетая была в ватную кофту, уже очень замызганную, в валенках, так и лежала во всем этом одеянии все дни и ночи. Никакой кровати и постели у нее не было. Мебель старая, дряхлая, вся какая-то серая, с застарелой грязью и пылью, словно замшелая.

Привели в порядок дом, комнаты помыли, почистили и если не платили за квартиру, зато нашли при наших недостатках еще и нахлебника. Но эта женщина жила с нами недолго. Однажды вечером, когда мы сели пить чай, я пошла ее звать сойти к столу, дергала за рукава, трясла за руку, но никак не могла дозваться заставить ее слезть. Пошла к отцу, он встревожился, сам живо пошел к ней, и сказал, вернувшись: «Она умерла». Так тихо, мирно и уснула навсегда на теплой русской печке. Отец сейчас же отправился к Яковлевне, она, явившись, только посмотрела на умершую, а затем стала осматривать ее добро. Был у старухи большой сундук запертый, Яковлевна отперла его и стала рассматривать что там содержится. В сундуке была одежда, между прочим, хорошая; Яковлевна вынула какой-то розовый пояс, поглядев на него, сказала: «Вот это Мане». Но отец замахал рукой: «Ничего, ничего не надо. Все сложите, заприте, и ключ с собой унесите». Она взялась организовывать похороны: конечно, главными действующими лицами были отец, Дуня и мама. В церковь не носили ее, а прямо из дома на кладбище, а потом были поминки у нас. Народу пришло много по приглашению Яковлевны, а когда была жива старуха, никто не приходил, никто ее не навещал. Наследник ее имущества оказался известным, но явился спустя много времени после похорон. Он вошел в дом, одетый в добротную верхнюю одежду, и, не снимая даже фуражки, уселся на старенький серый стул, долго молчал, смотрел на все вокруг себя, видимо, оценивал взглядом свое наследство. И ушел, не сказав ни слова. Потом увез лишь один запертый сундук, а мы еще несколько времени жили в этой квартире.

При этом доме был большой участок. Дом стоял внутри участка. Между ним и уличным забором полянка густо заросла травой, а за домом была возделанная земля под огород. Мы воспользовались ею. Посадили огурцы, лук испанский, нам его дали те, у кого мама работала. Посадили луковички небольшие, вырос лук крупный, сочный и очень вкусный. Мы весь его съели с хлебом, не догадались оставить для новой посадки. Огурцы росли в нашей местности вообще очень хорошо. Обильно всегда. Это была самая дешёвая и распространённая пища у всех мещан и в обед и в ужин – свежие огурцы с хлебом. Питание в нашей семье было очень скромное. Мясо варили только в самые большие праздники: на Рождество, в Пасху.... Иногда варили уху из рыбы, наловленной нами. Обычно ели картофель варенный, часто печенный в горячей золе русской печки, вяленую и соленую воблу (соленая вобла называлась «тарань»), иногда варили гороховый кисель, который я терпеть не могла. Летом помогали грибы, щавель, дикий лук, ягоды - земляника, черника. И большей частью вместо обеда и ужина довольствовались чаем, пили его с сахаром вприкуску, часто с молоком. Каши почему-то у нас никогда не варили, круп не покупали. Часто покупали ржаную муку и пекли дома хлеб. Это было выгоднее. При мне говорили о ценах. В хороший урожайный год пуд муки стоил 60 копеек. И так же, не дороже 60 копеек, стоил воз напиленных, наколотых дров. Покупалось все это на

базаре в субботний базарный день. В продаже готовый хлеб стоил 2 копейки фунт, это около 400 граммов, а хлеб, выпеченный дома, обходился дешевле, благодаря припеку.

[«Обжорный ряд» на Базарной площади]

До сих пор ярко встает в памяти строение на Базарной площади под название «Обжорный ряд». Это были два ряда ларьков, поставленных крестом, числом не менее 20, под общей крышей. Здесь продавались разные сорта выпеченного хлеба. Был черный хлеб из непросеянной муки, хлеб побелее – из просеянной; «ярушник» – из муки яровых культур. Белый хлеб был трех сортов, по цене 7, 6 и 5 копеек за фунт. Из белой муки были пироги с изюмом, из ржаной муки – пироги с рыбой. Рыба запекалась целиком со всеми костями. Там же продавалась рыба соленая, вяленая, копченая, наша знаменитая вобла. И все это в каждом ларьке в изобилии лежало на полках задней стены, на прилавке. Когда я попадала туда, удивлялась всегда: кто это может все закупить. И торговля бойко не шла. Покупателей было мало, торговцы в пиджаках и передниках (черных всегда), облокотившись на деревянный, сомнительной чистоты прилавок, мирно беседовали друг с другом.

Дали нам соседи каждый по паре яичек и курицу. В свое время цыплятки вылупились из всех яиц благополучно, но одно яйцо не разбивалось, а что там была жизнь – это было слышно. Отец взял это яичко, положил его в свою теплую шапку, грел на конфорке самовара, потом вечером положил в еще неостывшую печку. Утром, когда открыли заслонку, из печки выбежал веселенький цыпленок. Выросли они у нас, уж не знаю на какой пище, все были очень интересные пары: петух и кура рыжие, другая пара с хохолками черные, пара каких-то сероватых, пара желтых. Выросли, но век их был недолог. В самые трудные дни нашего земного существования мы резали их одну за другой. Я даже плакала, когда покончили с хохлатой курочкой.

Помню, как мы с Саней тоже старались что-нибудь добыть для нашей жизни. Мы собирали льняные тряпки, резиновую старую обувь, большие кости и продавали их где-то на пункте. Получали 9-10 копеек и радовались.

Один раз пошли продавать свои огурцы, самый, конечно, неходкий товар, ибо все жители, у кого был клочок земли, растили их для собственного употребления. И дешевы они были у нас в городе вообще. Сотня стоила 10 копеек, а бывала и дешевле. Положили мы зелененьких мелких сверху, а несколько больших и желтых было на дне ведра. Предлагаем – никто не покупает. Устали таскать ведро, уселись в тени у забора на улице, и стали рассуждать, почему у нас никто не покупает. «Ведь у нас наверху все мелкие, зеленые, а вот желтые, большие внизу; а надо положить наоборот: зеленые вниз, а сверху желтые, крупные». Сказано – сделано. Украсив наш товар желтыми и крупными огурцами сверху, мы направились к одной женщине, выглядывавшей из окна напротив того места, где мы отдыхали. Она, видимо, слышала наши разговоры и сразу сказала, что купит все огурцы. Это была жена чиновника Куршакова, очень красивая моложавая женщина с пышной прической черных волос.

Идя как-то из школы, я забрела в открытые двери нашей Казанской церкви. Перед «царскими вратами» полно народу. Ясно, что я захотела посмотреть, что там происходит, пошла вперед и к моему ужасу и смутению увидела гроб, а в нем жену Куршакова в бархатном вишневого цвета платье, бледную-бледную.

Я так и замерла, загляделась, и так близко стояла к гробу, что перед панихидой и мне вручили зажженную свечку, так что мне пришлось отстоять всю службу. Было жаль ее, а вечером, оставшись в темноте, я обливалась потом от страха, что покойница может прийти ко мне, потому что я все время думаю о ней.

Помню такие случаи. Когда я уже училась в школе, мы услышали от соседей, что в доме Шамовых купцов кто-то умер и после похорон бедным раздадут булки и деньги. И я пошла с другими ребятами. Мне так нужен был всегда пятак на мои школьные принадлежности. Когда у меня заводился пятак, то всегда покупала хороший карандаш за 3 копейки, грифель за 1 копейку, а на 1 копейку в магазине, который торговал тканями и бумагой, давали четыре полного формата листа нелинованной крепкой бумаги. В других магазинах, и даже в земском складе, давали на 1 копейку 3 листа.

Долго мы торчали во дворе, и взрослые, и дети. От нашей семьи никого. Вот возвратились с кладбища, закрыли ворота, заперли двери в дом, и никто не удосужился выйти во двор и объявить, что подачек не будет. Потоптались-потоптались мы во дворе, так и ушли ни с чем, а родственники умершего были люди богатые.

В ту же зиму, я была во втором отделении, прошел слух, что в городской управе к празднику Рождества бедным взрослым дадут пособие деньгами, смотря по нужде, а детям школьного возраста по 5 копеек. Было морозно с утра, потом чуть-чуть потеплело, пошел мягкий снег. Пока в самом здании принимали взрослых, стало темнеть, но все терпеливо ждали, на холод не обращали никакого внимания. Тут поступили с нами честно. Из управы вышел пожилой мужчина и объявил, что если останутся деньги после выдачи взрослым, то нам дадут по 5 коп. Мы, полные надежды, никуда не уходили, терпеливо ждали. А я вошла внутрь и попала в одну комнату, где по стенам стояли шкафы светлого дерева, а внутри за стеклянными дверцами я не разобрала что стоит. Мне в полутьме и издалека показалось, что там на каждой полке сверху донизу стоят стопочками медные пятаки, некоторые из них с блестящими ободками, как новые. Я подумала: «Денег много, непременно дадут». Наконец вышел оттуда другой дяденька и весело и бодро закричал нам: «Становись в шеренгу». Что такое шеренга, никто из нас не знал, встаем в одну линию в затылок друг к другу. «Нет, не так, становитесь в ряд». Линия вытянулась большая: каждый из нас должен был вытянуть руку вверх ладонью, и каждый с удовольствием ощутил в ладошке медный пятак. Только несколько лет позднее, когда я ходила в библиотеку городской управы, я увидела эту комнату с «пятаками». И как же я была сконфужена, что корешки книг в кожаных темных переплетах я в детстве приняла за стопки медных пятаков.

Учиться во II отделении я начала с удовольствием, Августа Ивановна мне нравилась. Для чтения была выдана новая книжка, где были рассказы уже длиннее и стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, басни Крылова, а в самом конце «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина. Мне она понравилась особенно. Я перечитывала ее десятки раз, и при этом полагала, что надо прочитать вперед весь отдел стихов, а потом уже сказку. Выучила наизусть Кольцова «Что ты спишь, мужичок», Лермонтова «Ветка Палестины». Первое мне было так понятно, второе меня прельстило необычными словами, легкой, звучной рифмой, запоминавшееся само собой. Часто читала вслух отцу. Он очень гордился, что я хорошо читаю и с таким же интересом слушал рассказы и стихи из моей книжки.

Я очень любила переписывать текст из книжки. И чаще всего стихи Пушкина. «Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга...». Это – отрывок из поэмы «Евгений Онегин», о чем я, конечно, еще не знала. Что значит «гонимы», я это слово не понимала, но все остальное было понятно и звучало красиво. Когда сама переписывала, меня заставляли придумать запятое. Зачем они? Точки я воспринимала как-то интуитивно, «дескать, надо же и передышку сделать, а не подряд все читать». И в конце концов решила, что запятое надо ставить там, где близко слилось одно слово с другим. И когда я писала свой вольный текст, то запятые ставила там, где у меня сливались слова.

Во втором отделении начались уже постоянные уроки по закону Божию. Мы слушали рассказы учительницы из Нового завета. Иногда приходил и отец Михаил, а наряду с этим началось и знакомство с Евангелием на славянском языке. Августа Ивановна читала один стих по-славянски, потом переводила на русский. Так мы прошли порядочно, а когда мы уже заучили достаточно славянских слов, мы и сами стали читать и переводить при помощи Августы Ивановны. И вполне верили, что Иисус Христос приходил на Землю, жил среди людей и учил их. Этому реальному восприятию Христа способствовала и настенная живопись в церкви. Ярko и жизненно была нарисована на стенах нашей Казанской церкви большая красочная картина из жизни Христа «Вход Господень в Иерусалим». Над «царскими воротами» - портреты пишущих евангелистов, в руках они держали книги.

Церковно-приходская школа должна была воспитывать верующих, во всяком случае, исполняющих религиозные обряды неукоснительно. Будучи еще в I отделении мы уже всем классом говели. В продолжении 3-4 дней мы ходили всем классом на утренние и вечерние службы в нашу Казанскую церковь молиться и просить прощения у Бога за наши грехи. День на третий или на четвертый, всегда приходилось это на субботу, мы шли с некоторым страхом исповедоваться отцу Михаилу, купив предварительно свечку. Мы покупали подешевле - по 2 копейки. Потом вставали в очередь перед закрытой исповедальной (небольшая деревянная, украшенная резьбой с одной дверью), клали свечку на аналой перед батюшкой, становились смиренно на колени. И батюшка, накрыв епитрахилем голову, начинал спрашивать о грехах. Мне сказали дома, что на каждый вопрос батюшки надо говорить просто «грешна».

Вот и спрашивает он о грехах в порядке давно им заученном, я не совсем еще успеваю схватить смысл его вопроса, быстро отвечаю «грешна», а он еще быстрее задает новый вопрос. Я говела 3 раза в школе, 8 раз в гимназии, но никогда не знала, в каких грехах я должна была каяться. После исповеди остаток вечера и следующее утро до поздней обедни мы слушали, как дьячок читает нам «Правило» в церкви, а в чем состоят «Правила» и для чего они, этого нам не объясняли. А так как после вечерней исповеди до утра другого дня мы должны были поститься, не есть ни крошки, то стояние и выслушивание монотонного чтения на славянском языке, да на голодный желудок очень утомляло, да, по правде сказать, ничего не давало. Утром шли к заутрене, стояли всю обедню, нас причащали, говоря каждому подходившему, что мы вкушаем «плоть и кровь» Иисуса Христа. Самое приятное нас ждало после причастия. Нам давали для ободрения выпить несколько глотков церковного красного вина, слабого, подогретого с водой и кусочком просфоры. Мы, конечно, старались сделать побольше глотков, и в этот день считали себя безгрешными.

Непонятного в чтении Евангелия было много для нас, малышей. Но мне нравилось в тексте, как некоторые главы начинались: «Во время оно...», или как заканчивал Христос свое поучение: «Аминь, аминь глаголю Вам». Я читала хорошо славянский текст, хотя мало понимала содержание. А своим чтением – громким, ясным и довольно для моего возраста толковым, я приводила в восхищение отца. Кто бы ни зашел к нему с заказом, он заставлял меня читать: «Послушай-ка, как она читает». И за зиму моего учения во II отделении мы много прочитали с ним вместе: я читаю, он работает и слушает.

Однажды Августа Ивановна не пришла в класс, заболела, а вместо себя прислала своего младшего брата. Надо заметить, что семья Августы Ивановны была музыкальная. Ее старший брат был регентом Казанской церкви, младший – регентом Воскресенской церкви, а ее две младшие сестры, учащиеся в гимназии, пели в хоре Воскресенской церкви, одна первым голосом, вторая красивым альтom.

Кронид Иванович нам очень понравился. Высокий, стройный, красивый добродушный и веселый, он как-то сразу поднял в нас бодрый дух; мы охотно писали диктовку, решали устно задачи. В конце уроков он усадил нас на первых партах и заставил петь молитвы. Несколько раз он подходил к нашей девчоночьей парте, прислушивался, а потом, по окончании пения, сказал мне: «Приходи ко мне в церковный хор в Воскресенскую церковь».

Голос у меня небольшой, тоненький, слуха музыкального нет, но я очень любила петь и даже стихи часто распевала, скоро схватывала мотивы песен. Вероятно, я тут пела с воодушевлением и привлекла его внимание. Как же я была горда, а все ученицы и ученики посмотрели на меня даже с некоторым почтением.

Около года я ходила петь, а почему бросила – не помню. Даже получила мзду. За первый месяц мне ничего не дали. Шла я домой после обедни с сестрами Кронида Ивановича, и у меня навёртывались слезы на глаза. Они спросили у меня, почему я плачу, а я обиделась, что мне ничего не дали, но сознаться в этом не хотела, и сказала, что у меня руки озябли. Слышу, они потихоньку стали переговариваться между собой, что «и ей бы надо дать». За второй месяц мне дали 17 копеек, все, что осталось в церковной кружке после расплаты с хором. Но я была довольна и горда; как раз в нашей жизни был трудный момент, эти деньги пригодились, на этот раз был куплен хлеб. Все следующие месяцы мне давали по 20 копеек, но если принять во внимание, что наш тенор с хорошим музыкальным слухом и голосом получал в месяц по 1 рублю, то плата по 20 копеек мне, девочке, которая не знает нот, не так уж мизерна. Мне же дала многое. Иногда не все тратили на питание, а даже сберегли небольшую сумму и купили материала мне на белье.

В лето после II отделения у меня оказалась собственная библиотечка, оставшееся наследство от старухи. Чистили чердак, нашли там большую связку книг, перевязанную бечевкой. Развязали, отрясли хорошенько от пыли и вручили мне. Было несколько книг с описанием жизни и обычаев кавказских горцев, рассказы с описанием праздников, свадьбы, мести. Несколько книг было из русской истории. Книга о мученической смерти великого князя Михаила Черниговского в Золотой Орде – за отказ принять мусульманскую веру; «Борьба за освобождение» – роман из времен войны северных и южных штатов за освобождение от рабства негров. Автора, конечно, я не приняла во внимание, но читала с большим интересом и теперь помню его содержание.

...Девушка-негрятка, очень красивая, была подарена своим господином сыну, чтобы ему жилось веселее в его новом хозяйстве. После войны получила свободу, но не захотела вернуться к своему бывшему хозяину и жить с ним без брака, как прежде, будучи рабыней. Вот тут-то я поняла, что есть законный брак и незаконный, что мама моя законная жена, а Дуня – «любовница» отца. И от этого у нас такая неправильная и тяжелая жизнь.

Каждая прочитанная книжка давала мне, прежде всего, то, что я узнавала о существовании места, земли, страны, где это происходило. К концу учения в школе я знала 17 зарубежных стран и все по прочитанным книгам. Но где они находились, близко или далеко, совершенно не представляла, даже об Америке не задумывалась, где она, хотя про моря и океаны все читала. Мне совершенно неизвестны были географические карты. Не видывала их до III отделения.

Между прочим, там была сказка «Дуняша и 40 разбойников». Она привела меня в полнейшее недоумение. О разбойниках было много и интересно, но о Дуняше ничего, ни слова. Сказка была, наверное, сокращенная, и автор выпустил лишний текст о Дуняше. Меня же это заставило думать, а почему это так. И объяснила сама по-своему: так как в тексте сказки нет ничего о Дуняше, то чтобы не забыть, что такая была с разбойниками, напечатали ее имя в заглавии.

**[Жизнь семьи: тревожная и горестная.
Кабак Саньки Бруса (Александра Сазонова)
на главной улице, вблизи моста через Уржумку]**

Мы жили еще в доме старухи, наша семейная жизнь становилась все тревожнее, все горестнее. Отец все чаще уходил из дома, сидел в кабаке Саньки Бруса, хозяина кабака, настоящее имя его было Александр Сазонов. Кабак он держал в нижнем конце большой улицы, вблизи моста через реку Уржумку, через который прибывали в город из деревень крестьяне. Приезжие крестьяне заходили выпить, потолковать, зимой погреться, долго сидели, а их лошадки терпеливо ждали на улице у кабака.

Мы уже по походке отца знали: в каком градусе он идет домой. Если идет с высоко поднятой головой, значит трезвый, если с поникшей головой – выпил. Никогда он не качался, не падал, шел крепко и прямо, даже если сильно выпьет. На улице держал себя с достоинством, но придя домой начинал скандалить. Придет выпившим, начинает требовать ужин, почти никогда не ест, но критикует – «то не ладно, другое нехорошо», со стола летят чашки, тарелки, в кого попало: в маму, в Дуню. Даже табуретка раз летела, но брошенная неверной пьяной рукой, она не причинила вреда никому.

Все те же попреки маме, жестокое избиение Дуни, и всем нервный шок. И Дуню я жалела. Часто она была единственной поддержкой нашей семьи. Выходит на работу в 4 часа утра, приходит в девятом часу вечера, получает 30 копеек за весь длинный рабочий день, обычно работала 3-4 дня в неделю. На свои заработки кормит нас всех, выполняет всю домашнюю работу, на всех стирает, держит в чистоте квартиру и терпит без жалоб такую жизнь. Я удивлялась, почему она не бросила нас, отца. Иногда отец и избьет ее и выгонит ее из дому. Она уйдет, где-нибудь проживет 2-3 дня, а потом опять вернется, когда узнает, что отец трезв. Раз она просидела в бане несколько дней. Гордая была, чужим не выносила свое горе. Однажды отец закричал ей, чтобы она совсем ушла от нас. Она ушла, где-то отсиживалась, а Саню поставила на паперти церкви просить подаяние. Соседка увидела это, идя мимо нас, зашла рассказать отцу, что Саня стоит на паперти вместе с нищими. Отец сразу вскочил, накинул на себя пиджак, пошел к церкви и привел Саню к себе, а вслед за Саней пришла и Дуня.

Отец был оскорблен, он и мысли не мог перенести, что кто-нибудь из нас пойдет просить милостыню. Мы голодали, бывало, но ни у кого ничего не просили.

Часто после скандалов, когда отец проспится – на другое утро – мама и Дуня рассказывали ему, что он натворил накануне, отец глаз не может поднять на нас, тихо и виновато все выслушивает, делается добрый, мягкий, начинает работать, сидит целый день дома и на некоторое время у нас водворяется мир и тишина. И когда он был трезв, работал, был в веселом настроении, это был хороший человек. Он много знал песен, когда в его руки попадала гармонь, играл и танцы и песни, а по вечерам рассказывал сказки. Заходили и соседи послушать его. Правда, он иногда задерживал работу, когда запьет, но выполнит и хорошо крепко все зашьет и починит.

Честность его была безукоризненная, также и у моей мамы и Дуни. Мы были много беднее наших соседей, но пользовались уважением за честность. Соседи, хорошо знающие отца, говорили: «Федя – золотой человек», когда трезв, прибавляли в уме, конечно.

Иногда отец сам заскучает от такой неразберихи нашей, и вдруг куда-нибудь уедет, словно с якоря сорвется, в первое попавшее ему в голову место, верст за 25-40 от города, а не раз уезжал и в Вятку. Недели 2-3 где-то живет. Но мы не беспокоимся: известит, или вернется скоро. Действительно, вперед приходило от него письмо, иногда со вложением

бумажного рубля, а затем и сам являлся: сдержанный, деловитый, спокойный. И с нами хорош и внимателен.

Я уже тогда на девятом году, учась во втором отделении школы, стала задавать себе вопросы, почему наша семья и наша жизнь отличается от других семей, что в ней такого, что мы мучаемся? И находила ответ: наш мучитель – мой отец. И как казались мне счастливыми те семьи, где совсем не было отцов. Я не понимала причины пьянства отца. Иногда мама скажет: «Ах, эта долгозванная», – я понимала, что мама говорит про Дуню (она была высокого роста), что Дуня мешает маме, но кто и в чем виноват – не додумывалась. Прислушиваясь ко всем беседам взрослых, я начинала понимать только то, почему маме пришлось вернуться опять к отцу. Она была уже настолько больна, что не могла работать, нет у нас заработков и жить нам отдельно от отца нельзя, и вот приходится жить и терпеть все от его характера.

Но и слушалась его. Один раз я бегала по двору, а отец работал у окна. Увидев меня, он тихо сказал, как бы сам себе: «Вот у других девочки дома сидят, шьют, вышивают, а наша все бегаёт и бегаёт». Услышав это, я решила заняться рукоделием. Когда осталась дома одна, нашла иголку, синюю нитку, лоскуток белого коленика, а на другой день уселась в кухне между печкой и окном и начала делать стежки. Сажу и радуюсь, воображаю, что я вышиваю. Вдруг отец стал звать меня, называя Машенькой, а я не любила, когда меня называли Машей, и не отвечаю. Стал он искать меня и увидев с иголкой, умилился: «Да она шьёт, вышивает». Потом Дуня показала мне простой узорчик, и я понемногу выучилась вышивать крестом. Потом дали мне спицы, суровые нитки, мелко нарезанные цветные лоскутки и научили, как вязать вместе с нитяной петлей эти лоскутки. Задуман был подножный коврик величиной поменьше пол-аршина квадратного. Другая рукодельница связала бы его в неделю, много в две недели, а я вязала все лето и оставила незаконченным; такое было скучное занятие, да и бесполезное, никто не нуждался в подножном коврике.

Отец вовсе не был плохим и злым человеком, не сухим, не жадным, мог поделиться всем, что имел, охотно помогал другим в их затруднительных случаях. Даже цыпленка неудавшегося пожалел. К нам заходили часто двое нищих – слепые черемисы, плохо говорившие по-русски. Побирались они большей частью в окрестных деревнях, а на праздники приходили в город, зная, что жители города приготовят съестного пообильнее, и им дадут охотнее. В первый день великого поста, они обходили, бывало, весь город, просили подать им «погана лепешка». Так называли они блины, жаренные на скоромном масле, и их охотно им отдавали все начинающие поститься. Вот поедят они вдоволь, возьмут с собой, что насобирали, уходят опять из города. Как только они появлялись у нас на пороге, отец весело приветствовал их, поил чаем, оставлял ночевать. Они были тихи, скромны, нам не мешали. Как-то в конце лета они много насобирали яблок. Складывали их в кухне на окне. И, конечно, никто – ни взрослые, ни мы, ребята, не взяли ни одного яблока у них. Один раз Федорко долго искал свою котомку, потом попросил меня поискать, а когда я нашла ее, он в благодарность разрешил мне взять яблоко, какое мне угодно. И знал, что я возьму не больше одного. Он ушел, а я долго стояла и глядела на кучу яблок, выбирая глазами. Вот это большое, но зеленое, а вот это красное, но маленькое. Наконец, соблазнившись красным, разрешила его, чтобы поделиться с мамой; даже внутри этого яблока были красные жилки.

Вся семья наша была очень честной, ни копейки, ни вещи чужой; это как-то незаметно впиталось и нам, ребятам. Саня, которого отдали к слесарному мастеру в ученики, голодал у них иногда (заработок у слесаря был невелик), но никогда не брал ничего сам. Кстати сказать, я все же совершенно случайно сама украли по-настоящему яблоко на улице, у двери магазинчика, не из жадности, а из хвастовства, вместо спорта. Случилось это так. Саня долго смотрел на яблоки, красиво уложенные в корзине,

стоявшей на улице около магазинчика, и говорил, что вот так и взял бы, да торговец увидит. А я, дуреха, оказалась посметливей его: ведь подойти к корзине можно не со стороны открытой двери, а с другого бока, и свои слова немедленно претворила в дело. Прошла по стенке, взяла яблоко одно, но ела без аппетита и долго мучилась этим поступком. Боялась, что отец узнает, и что тогда будет. Надо заметить, что ни отец, ни мать меня не били, никогда не ударили, разве иногда давали легкий подзатыльник, если я мешала по дороге им. Иногда я распоюсь, скачу, болтаю, надоем им, а они только скажут: «Ну, хватит». Я еще, бывало, продолжаю, тогда уже слышу предупреждение погрознее и громче: «Кому сказано!». И я затихала: мне сказано. Но что отец рассердится и здорово отругает меня за яблоко, я боялась, да и самой было стыдно, неприятно. Не было в нашем быту нежностей, нас не ласкали, не целовали никогда, но и не было никаких наказаний.

По вечерам, когда все были дома, они беседовали о прошлом, вспоминали родственников, у отца было два брата, которые остались жить в Кунгуре. Кое-что я уловила и о прежней жизни мамы и отца, и как начал отец ухаживать за мамой. Ей не хотелось выходить за него, она побаивалась его характера, Но он настаивал на браке, а она, более слабая характером, уступила.

На своей родине, когда отец был юношей, с ним был такой случай. Поехал он в лес за дровами, лошадь и сани чужие. Возвращался поздно. В темноте появились голодные волки, их появление не обещало ничего хорошего. Отец не растерялся. Он отломил большой сук от елки, зажег его, пересел с воза на лошадь и стал размахивать веткой, которая от движения все больше разгоралась, не давая волкам близко подойти к лошади. Так, цел и невредим, он и приехал в деревню. Уже живя в городе, он, не рассуждая, бросился однажды спасти упавшего в колодезь солдата, сел в бадью, спустился, вытащил его, но, к сожалению, уже мертвого, так как солдат был пьян и сразу захлебнулся. Однажды он бросился спасти тонущую девочку, а когда мать девочки спросила, как его вознаградить, он ответил: «Да вот рубаху изорвал!». Но ничего от нее не взял.

[Общественная работа отца в вольной пожарной команде. Пожары в Уржуме]

В Уржуме он нашел подходящую для своего характера «общественную работу», хотя тогда этого термина и обычая не было. Он записался в вольную пожарную команду, не пропускал ни одного пожара, а пожары у нас были часты. Дома, кроме главной улицы, почти все были деревянные, построены довольно близко друг к другу. А какая у нас была первобытная техника тушения пожара! Воду возили в бочках из реки, воды не хватало, а потому обычно брали в руки багры и начинали растаскивать по бревном загоревшийся дом. Чтобы не загорелись ближние деревянные постройки, на них натягивали мокрый брезент. Вероятно, только для смачивания брезента и хватало воды. Такой способ тушения я видела и позднее, в 1913 году, в Казани.

Однажды сгорело у нас шесть деревянных, подряд стоящих домиков. Жильцы успели вытащить весь скарб, и сидели на своих вещах целый день, пока не нашли пристанища. Как мне делалось жутко, когда вдруг ночью забьет набат на пожарной каланче, мы вскакивали с постели, смотрели в окна, сколько горит фонарей на самой вышке каланчи: число фонарей показывало, в какой части города начался пожар, частей было всего три. Отец в одну минуту одевался и убегал, а мы с беспокойством поджидали его. Однажды, когда я еще совсем была маленькой, бревно от загоревшегося дома скатилось на ногу отцу и разбило ступню правой ноги. Прямо с пожара его увезли в больницу, он долго находился там, передвигался на двух костылях. Кости благополучно срослись, он ходил нормально, даже не вспоминая этой случай. Я вместе с мамой пришла навестить отца в больницу, но на него не глядела, так мне показалось страшно: он на

костылях, в белом халате. Принесла ему конфеты, зажмурилась, отдала молча, а сама спряталась в складках маминой юбки. А разве добровольное тушение пожара не общественная деятельность – дело бесплатное, бескорыстное? На эту работу уходила часть тяжелого характера отца, вот, пожалуй, и вся выгода от этого занятия.

Отец очень любил птиц. Сам он редко ловил их, а приобретал у знакомых за деньги, за работу. И какие красивые большие клетки делал он из проволоки, деревянных обточенных тонких палочек, с выдвижным доньшком. Клетки висели вверху окна. А птицы были все простые: чижики, щеглы и другие мелкие птахи. Я с шести лет начала ухаживать за ними. Мое дело было чистить клетки, задавать корм. Сниму клетку, вытяну доньшко, все почищу, налью свежей воды. А конопляное семя, которым кормили птиц, разомну скалкой. Иногда ставили им блюдца с чистым, промытым, крупным песком.

По утрам, особенно при солнце, распоются они громко и весело. Жили они у нас всю зиму, весной их выпускали, а к осени снова приобретали. Недалеко от нас, у одного старенького гражданина, жили канарейки. И как он ухаживал за ними! Для их покоя закрывал клетки занавесками. И вот зачем-то меня послали к нему. Он раскрыл занавески, показал канареек, а я, кроме того, загляделась у него на раскрашенные бюсты каких-то важных людей, еще не зная этого слова – «бюст». Он, видя, что я смотрю с интересом, взял один и подарил мне. К зиме, когда стали законопачивать окна, бюст поставили между рамами, а к весне он вымок и рассыпался. Только позже мне сказали, что это был бюст Александра III.

Но как бы мы не страдали, были ли бедны, были ли у нас деньги и пища, был ли у нас мир или какие-то несчастья, никто из взрослых никому об этом не рассказывал. Так и меня постепенно приучили. И своей учительнице я ни разу не рассказала, ни о маме, ни об отце.

Пришла к нам одна женщина и стала просить пустить ее с мужем пожить у нас, собственно, просила угол, а не комнату. Это было перед Пасхой, она очень просила придти к ней в гости. По гостям мы не ходили и сами гостей не принимали, не на что было принимать. А когда настал праздник, стали рассуждать: как же быть с таким сердечным приглашением. И решили отправить меня. Пришла я к ней, она очень приветливо встретила, угостила куличом, пасхой. Спрашивала о том, как мы встретили праздник. Я по глупости сказала, что нынче плохо встретили, булки пекли не белые, а серые. «Почему же?» – спросила она. А я опять со всей откровенностью рассказала, что нынче мало заработали денег, не на что было покупать. Когда вернулась домой, меня начали расспрашивать тоже: о чем же мы с ней говорили. Я и рассказала. Тогда Дуня тихо сказала, что не надо никому рассказывать о нашей жизни, о недостатках, о нужде. И я это крепко запомнила. И только теперь, вспоминая все, пишу откровенно. А тогда, ни в детстве, ни в юности, никто от меня и слова не слышал о нашей семейной неурядице, о бедности. Даже подружки в школе не знали, есть ли у меня мать и отец, где и как я живу.

Довольно рано нас отпустили на лето. Все перешли в III отделение, никого не оставили. Моя мама уже с весны не вставала с постели, таяла и худела. Ни медицинской помощи, ни поддержки, да еще и скудное питание. Когда отец и Дуня находились дома, они ее поднимали с постели посидеть, поесть, поили горячим чаем. Когда их не было, ухаживала, как могла, я. Я научилась быстро и легко поднимать: одной рукой придерживала маму за шею, другой спускала ноги с кровати. Давала умыться, посидеть, глядя в окно, но горячего чаю дать не могла. Самовар поставить я не умела, да и не давали мне этого делать. Да к тому же, помню, я убежала из дома, сначала на минутку, как мне казалось, а сама пробегаю час и больше.

С нетерпением ждала я ученья и начала с удовольствием ходить в школу, потому что пришла новая учительница, она ввела дисциплину, стала интересно вести уроки. Вначале мы ее боялись: она казалась строгой и серьезной.

[Смерть матери]

Прошло немного времени и в мою жизнь ворвалось горе, хотя можно было ожидать его, слушая разговоры взрослых. 1 октября, рано утром, разбудили меня, сказали: «Мама умирает». У нее был суставной ревматизм, обыкновенно заканчивающийся параличом. Когда я встала, мама была еще жива, только лежала неподвижно и молчала. Она только тихо стонала и переводила глаза с одного лица на другое. Материнское сердце Дуни угадало, что она меня ищет глазами и поставила меня у кровати, в ее ногах, чтобы мама могла видеть. Я не плакала, не было у меня слез, а только смотрела на нее молча. А у нее, умирающей, катились по щекам крупные слезы. Вот, слышу, говорят, что сейчас умрет, поставили на стол стакан с водой. Мама стала затихать, сморщилась, и кто-то сказал, что она испила свою смертную чашу, которую ей поднес ангел. Последний вздох, и мамы не стало. Поднесли зеркало к лицу, оно не затуманилось от дыхания. Отец спокойно и деловито пошел в сарай делать гроб, а Дуня с другими женщинами обмыли и обряжали маму. Свое смертное платье мама приготовила сама, когда еще ходила. Все было новое и чистое. Вот и гроб готов. Отец принес его, поставил на скамейку перед иконами, взял на руки одетую маму, положил в гроб и долго стоял неподвижно, молча смотрел на нее. Что творилось в его в сердце и голове? И вдруг он упал на колени перед гробом со слезами, с громкими рыданиями, повторяя: «Прости меня, Липочка, прости меня». Просил он, но слишком поздно, ничего не воротишь. Горькие слезы текли у него и тогда, когда он нес маму на кладбище....

Приходили соседи, прощались. Кто-то сказал про меня, что я плохая дочь, не поплачу и не повою по матери. На другой день снесли ее в церковь Казанскую на панихиду и отпевание, а на третий день хоронили. Знакомые мужчины несли гроб. Отец шел в передней паре, не меняясь, все время плакал и говорил: «Прости меня, я все делаю для тебя, все стараюсь, прости меня только». В головах могилы стояла высокая береза. В нее отец вбил небольшой медный крест. Впоследствии он глубоко вошел в кору, но виден был хорошо. После похорон у нас были поминки. Приглашали тех, кто помогал нести и был на кладбище.

Старое кладбище в ту пору уже совсем вошло в черту города, много лет прошло со времени его закрытия. Новое отстояло далеко. Несмотря на дальнейшее расстояние, обычно у нас в городе гробы умерших – богатых и бедных – несли на руках. Только на пути богатых разбрасывали зеленые еловые лапки... А многих бедняков и в церковь не носили, и дома не отпевали. Сделают гроб дома, выберут место для могилы, никого не беспокоя. И врача не вызывали, чтобы установить – жив еще человек или умер. Сами домашние определяли это своими установившимися способами. Подносили сухое чистое зеркало к лицу, чтобы узнать, дышит человек или нет.

Я, странно это, не плакала, лишь все наблюдала. К смерти матери меня подготовили ее постепенное ухудшение здоровья и разговоры об этом других. А в первый же день ее смерти меня послали на реку выполоскать какое-то белье и тряпки. Погода была 1 октября холодная и ветреная. Я, плохо одетая, озябла, озябли руки от холодной воды. И вот тут я заплакала. Вот, думала я, теперь меня некому будет пожалеть и приласкать. Хотя ласка матери заключалась лишь в выражении ее глаз. Но эти эгоистичные мысли скоро у меня улетучились: хотя Дуня и не ласкала меня, но никогда ничем не обидела, никакой работы не давала. Она ухаживала за мной, как за родной дочкой. Меня, девятилетнюю девочку, мыла, причесывала, одевала, стирала белье, шила платья. Никогда не упрекнула ни в чем,

и все это из любви к моему отцу. Она по-прежнему ходила работать, все делала по дому, и все, что зарабатывала, шло, как и раньше, на содержание семьи. Как и раньше, она была молчаливая и суровая на вид, только сделалась как то спокойнее, положительней.

Отца словно переменили. Он сразу поник, изменился, даже как будто стал ниже ростом. Перестал пить, сидит дома, работает, но уже песен не поет, сказок не рассказывает. В первые же дни после похорон он стал настаивать, то строго, то ласково, чтобы я называла Дуню мамой. Я наотрез отказалась: «Была у меня мама, больше не будет». Он: «Так как же ты ее будешь звать?». Я, также упрямо, помня, что она была маме помехой, отвечала: «Как и раньше, Дуней». Он: «Нет, так нельзя, она теперь будет хозяйкой у нас», – но не прибавил, что будет его женой. Долго думали они, как разрешить эту задачу, наконец, нашли выход: «Будешь ее называть тетей?». Я согласилась: тетей разных много на свете.

Они не венчались. За обряд венчания надо было платить в церкви самое малое пять рублей, а это были большие деньги. Трудно было их скопить. Странное дело: отец изредка, в большие праздники, ходил в церковь ко Всенощной, в Пасхальную заутреню. Но Дуня никогда не бывала в церкви, пока был жив отец. Считала себя, верно, грешной. После смерти отца я встретила ее в Троицын день около часовни на Белой речке. Она сидела на скамейке в черном платье, спокойная, торжественная какая-то, и даже глаза ее выражали внутреннее довольство и теплоту. Она сказала мне, что молилась в часовне, заказывала лично молебен. Теперь у нее осталась одна забота о сыне. Он был лет с 12 отдан в ученье к мастеру слесарных дел, жившему от нас через дом в собственном небольшом домике в три окошка на улице. Это был хороший, негрубый человек, ученика не обижал. Семья мастера состояла из матери, молодой жены и младенца. Комнату побольше, которую они называли «зала», занимала мать, довольно еще крепкая женщина, типичная мещанка, строгая, заносчивая, полная хозяйка и госпожа в семье. Никогда я не видела улыбки на ее лице. Всегда нахмуренная, недовольная. В зале стояла ее всегда аккуратно убранная кровать под белым покрывалом и с горой подушек, столики, покрытые вязаными салфеточками, в переднем углу обширный киот с лампадой. Вторую комнату, собственно кухню с русской печью, очень небольшую, в одно окошко, занимали молодые с ребенком. Тут готовили пищу, обедали, отдыхали, тут, собственно, молодые проводили все время. В передней находилась мастерская: стол и скамейки с разложенным инструментом. Сам мастер, человек молодой, но всегда молчаливый, какой-то ушедший в себя, к матери относился почтительно, старался избегать всяких столкновений с ней. Любу, жену, не обижал, но и не баловал беседами. Очень любил читать, ходил в городскую читальню и там ему выдавали книги на дом. Он работает, что-нибудь пилит или точит, а около, на столе или на скамейке, лежит раскрытая книга. Я увидела у него однажды большую раскрытую книгу, на странице два столбца. Прочитала обе страницы, и только спустя пять лет вспомнила этот текст, читая в старом издании Диккенса «Домби и сын».

Люба была полной противоположностью им. Миловидная, можно даже сказать красивая, свежая, пухленькая, небольшого роста. Она всегда была в хорошем настроении, с таким запасом добродушия, что не тяготилась нисколько замечаниями и сердитым окриками свекрови. С мужем была равна, не ссорилась, ни на что не жаловалась. Часто она среди бела дня прибегала на полчаса к нам поболтать, посмеяться, отдохнуть от домашней скуки и хозяйственных дел. О неполадках в семье рассказывала со смехом. Очень удивилась Дуня, что Люба не отличала березы от осины, когда они компанией пошли в лес наломать березовых веников. Люба была взята из деревни, и как было не знать такого пустяка, может быть, в этом был виноват ее беззаботный, несколько поверхностный характер, но который и спасал ее в горестные минуты.

Как мы не бедно жили, но были люди еще беднее нас, которые нуждались в поддержке и помощи. Помню первую женщину Ольгу, сестру моей крестной матери Серафимы, родом из деревни Беково, что в семи километрах от города. Приехала Ольга из деревни, ей там дела не нашлось. И Дуня, и моя мама, пока работала, старались найти Ольге работу, но она работать не захотела. А в это время отец приютил одного бездомного и безродного парня, ни к чему не приспособленного. Стал его учить своему ремеслу, кормил. Как только тот постиг первые несложные приемы починки сапог, отец поставил дело так: давал ему часть заказов, чтобы Андрей чинил под свою ответственность, и сам получал деньги за свою работу. Сидел этот парень и молча, усердно работал, совсем почти не разговаривал, так что трудно было угадать его характер. Ольга пригляделась к нему, видит, что Андрей податливый, захватила его себе близким другом. Он работает, выколачивает гвоздями и молотком на чай и хлеб, а Ольга валяется в постели. Вступилась за него какая-то дальняя тетка, нашла ему невесту, принудила его венчаться и жить порядочно. Андрей с женой взяли отдельную квартиру. Видела я и его жену, и квартиру. Квартира была плохонькая, пустая, а жена немолодая, некрасивая, и тоже, видимо, не очень охотная работать. Мне она не понравилась. Скоро эта Ольга нашла себе нового покровителя – дворника купца Шамова. Когда дворник закрывал ворота на ночь, она проскальзывала во двор и оставалась там до утра. Нашим очень не понравился такой образ ее жизни. При переезде на новую квартиру, очень маленькую, Ольгу больше не взяли.

А вот другая женщина, Маша, сделалась как бы родственницей нам. Я еще в школу не ходила, когда она поселилась у нас. Ходила на все работы с мамой и Дуней, но, будучи одинокой, мечтала о семейной жизни. На вид она была старообразная, с лицом, немного попорченным оспой. Но характером была тихая, ровная, честная и работающая. Со мной она разговаривала как со взрослой и все мне рассказывала. Ее мечты о семейной жизни осуществлялись плохо. Раз ушла она жить «на место», то есть, по-современному, домработницей. Скоро возвратилась к нам в ожидании ребенка. До его рождения она еще успела поработать поденно, какие-то гроши были у нее целы. Родился толстенький белокурый младенец. На первые 2-3 месяца она вызвала из деревни свою мать, жившую одиноко в большой бедности. Но с ней Маше жить было трудно, мать уехала обратно в деревню, и тогда на некоторое время определили нянькой меня. Это было летом. Намучалась я, когда часто оставалась с ребенком одна. Было ему месяцев восемь. Здоровенький и толстенький, не по моим силам, он преспокойно ползал по полу в одной рубашонке, босой. И не затруднял меня с питанием его, охотно пил молоко, что ему оставляли. Но укладывать его спать – это было для меня мучительно.... Но мальчик не дожид до зимы, чем-то заболел и умер. Очень горевала Маша, опять она одинока. Знакомая женщина сказала ей, что есть на примете подходящий ей муж, вдовец, недавно потерявший жену. Он хорошего характера, работает возчиком. Предупредила Машу, что в такой-то день и час он придет познакомиться. Маша поставила самовар, накрыла стол не в доме, а в сених. Сени были у нас просторные, чистые. Сама оделась в свое самое нарядное и праздничное платье – синее, шерстяное, еще новое. Пришел высоченного роста мужчина, заросший бородой. Выпил порядочно чаю, мало говорил, больше слушал. Пообещал придти. Маша повеселела. В следующий раз снова накрыла стол в сених, надела новое ситцевое платье. Покушал, помолчал жених, сказал, что опять придет. Дело, видимо, налаживалось, говорили все. А я стала думать: какое же платье наденет Маша, ведь больше у нее ничего нет нового. Маша опять надела синее, шерстяное. И больше он не приходил. Я рассудила так: если бы Маша надела третье новое платье дорогое, то дело бы сладилось, у нее его не оказалось, она бедная. И он не захотел бедную.

Зимой, перед великим постом, я стояла в церкви и глазела на венчающихся. И к моему удивлению увидела этого возчика, который подвел к аналою молоденькую девушку, по виду и внешности деревенскую, бедно одетую. На ее розовое ситцевое платье была надета черная кофта, широкая и длинная. Так носили в то время мещанки и

крестьянки по праздничным дням. Пожалела я эту девочку, ей на вид было лет 16-17, невысокого роста. А он высокий, как верстовой столб, все лицо заросшее черными волосами. Мне почему-то показалось, что невеста пригорюнилась. Маше я не сказала об этом случае, подумала, что она огорчится.

Пошла Маша еще раз на место к вдовцу с тремя взрослыми дочерьми. И опять пришла к нам в ожидании ребенка. Родилась девочка – Лена. Приехала опять бабушка нянчиться с младенцем. Была она старая, слабая, молчаливая и терпеливая. Ела мало: кусок хлеба, чашка чая – вот и вся пища. Такие печальные и потухшие глаза у нее были. Когда в августе Дуня и Маша отправились на полевые работы, то в качестве няньки взяли меня. Было мне тогда 12 лет. А бабушка опять уехала в деревню.

Маша так и прижилась у нас, пережила маму, отца, Дуню. Спустя годы, я встретила ее, она рассказала, что наконец-то живет хорошо. У нее сын десяти лет, учится в школе. Взяла она квартиру за 5 рублей в месяц, значит, неплохую. Часть ее сдает ссильным, сама работает по-прежнему. И с годами, старея, она сделалась как бы благообразнее.

По соседству жила еще одна бедная семья вдовца Родиона. Старшая его дочь вышла замуж за такого же бедняка, а младшая, моя ровесница, росла без призора. Когда дома у нее никого не было, она проводила у нас все дни. Родион всегда был пьян и грязен. Даже домой иногда не доплетется, лежит где-нибудь под забором. Его Наташу мы жалели, но приучить ее к чему-либо дельному не смогли. В школу она идти не захотела. Неграмотная, равнодушная ко всему, она понемногу стала отставать от нашей семьи. Раз у нее завелись деньги, 15 копеек. Захотела она купить платок головной и попросила Дуню сходить с ней. Конечно, и я пошла с ними. В магазине нам показали ситцевые цветные платки. Наташа выбрала самый цветастый, спросила о цене. Продавец сказал, что стоит платок 14 копеек. А Наташа громко и жалостно охнула: «А у меня ведь всего 15 копеек!».

Мы все посмеялись тогда, а, в сущности, только жалеть ее надо было. Так она и исчезла куда-то. Когда мы жили на квартире у старухи, напротив ее дома стоял двухэтажный дом вдовы Семеновны. Старшая замужняя дочь снимала у нее квартиру в верхнем этаже, а сама Семеновна с младшей дочерью жила внизу. Дом был небольшой, четыре окна на улицу, а в маленькой деревянной пристройке помещалась «лавка» – магазинчик, где Семеновна торговала наиболее ходовым для местных жителей товаром: сахаром, чаем, по большей части, плиточным, сушками, которые иногда засыхали до состояния камня, дешевыми конфетами и пряниками. А также керосином, мочалом и дегтем – это для приезжающих из деревень крестьян. В лавке Семеновна никогда не сидела в ожидании покупателей. Лавка заперта изнутри, а Семеновна работает по хозяйству. Придешь за покупкой, постучишь в окно, тогда она выйдет из своей «залы», отперет наружную дверь лавки, отпустит товар и снова уходит домой. Мы, и нам подобные, покупали сахару на 10 копеек, керосину на 2 или 4 копейки (смотря по деньгам). Но сушек лично мы не покупали у нее. Не велика была выгода от таких покупателей, но видимо Семеновна что-то подкопила. Слышим мы, что собирается она в путешествие, в Иерусалим. Она и ее старшая дочь хорошо и сочувственно к нам относились. Когда они слышали, что отец буянит, Семеновна брала пару наиболее сношенных сапог, приходила в самый разгар шума и, как ни в чем не бывало, с самым серьезным видом просила отца починить их поскорее и покрепче. Отец сразу затихал, вежливо с ней толковал, а по ее уходу и остывал. Когда отца не было дома, то Семеновна с дочерью приходили к нам посидеть, приносили маме поесть что-нибудь вкусного. Но оставляли все это с большой осторожностью, боялись, что отец придет и не позволит маме принять угощение. Гордый он был при своей бедности. Говорил даже, что просить взаймы – это все равно, что протянуть руку за милостыней. И никогда мы не просили взаймы, хоть и бывали очень трудные дни. И вот, действительно, отправилась Семеновна в Иерусалим, долго путешествовала, вернулась живой и здоровой. Посетила она и

Иерусалим, и окрестности, и была, видимо, удовлетворена: глаза ее излучали благодушие и какой-то тихий свет. В один из дней, когда я с ребятами бегала по нашей улице, она позвала меня к себе, посадила в своей зале за стол и дала посмотреть через стереоскоп фотографии улиц Иерусалима, храма. Тут я увидела и озеро Генисаретское, и Гефсиманский сад. Я тогда окончила II отделение школы, и мы уже прошли с учительницей Новый Завет. И вот все рассказы о Христе, его жизни на земле среди людей, ожили и воплотились для меня в этих фотографиях.

[Учительница церковно-приходской школы Екатерина Матвеевна Самарцева]

...III отделение школы дало мне много нового и интересного. Во-первых, пришла новая учительница – Екатерина Матвеевна Самарцева, которая всей душой отдавалась своему делу. И при всей бедности, и в школе, и в семьях наших, сумела нам дать такие радости, каких мы еще не знали. Была она строгая и требовательная, но и справедливая, внимательная к каждому ученику. Ввела наказание для тех, кто вертелся на уроке и не слушал ее: оставляла в школе на четверть часа или на полчаса после уроков и ухода учеников домой. Это у нее называлось – «оставить без обеда». В первую очередь, по живости моего характера, остаться без обеда довелось мне, а в дальнейшем я так часто была наказана, что совершенно к этому привыкла. Тем более, что дома никакого обеда не было. Я помогала Екатерине Матвеевне убирать в шкаф тетради, книги, чернильницы, разговаривала с ней, и вместе мы выходили из школы. Она стала выдавать мне книжки для чтения из нашей малюсенькой школьной библиотечки, занимающей всего одну полку в шкафу, и не только предоставила мне возможность прочитать все эти школьные книжки, но даже стала приносить книги из городской читальни. Вся наша школьная библиотека состояла из тоненьких сброшюрованных книжек в тоненьких обложках издания Сытина, Павленкова, стоимостью по 1, 2 и 3 копейки. И огромное спасибо этим издателям. Я познакомилась тут не только с рассказами русских писателей, но и с литературой зарубежной. Интересной по содержанию была серия под названием «Книжка за книжкой». И хотя книги были тоже без переплета, но с ясным крупным шрифтом, на хорошей крепкой бумаге. Они стоили дороже. И сколько же знаний они мне дали! Помню такие: «Откуда камни на полях», «Змеи», «Египет» – все доходчиво изложено для детей. В этом издании прочитала я книгу «Маленькая колдунья» Жорж Санд, «Юлианка» Элизы Ожешко. Особенно мне понравилась книга «Шведская королева» (вот автора я не запомнила, к сожалению). Принесла Екатерина Матвеевна однажды очень большую книгу «Былины, народные песни, поэмы, стихи об Алексее – человеке божьем». Я по вечерам все это читала отцу, и с каким живым интересом он слушал! Былины перечитывали по нескольку раз, поэтому я долго не возвращала книгу Екатерине Матвеевне. После этого она принесла мне книгу легенд из французского эпоса. Ее отец слушал с не меньшим интересом, особенно о походе Роланда и его гибели. Когда я доходила до места, где Роланд трубит в рог, призывая на помощь, отец, помню, оставлял работу, поднимал голову и напряженно смотрел в темное окно, словно представлял себе картину гибели смелого Роланда с его войском. Была у отца все же поэтическая жилка... Следующую книгу, которую принесла Екатерина Матвеевна, мы с отцом прочитали без особого интереса. Это был обстоятельный рассказ о том, как крестьянский мальчик после смерти своего отца стал поддержкой матери, братьям и сестрам, усердно работал и поднимал хозяйство. Отец произнес такое суждение: «Что про это читать? Мы и сами бедные, и кругом нас беднота, что тут занятного?». Наконец, Екатерина Матвеевна послала меня саму в читальню за книгами, заранее переговорив с библиотекаршей обо мне. В нашем городе было две библиотеки. Одна большая, где выписывались газеты и журналы, она находилась при городском управлении. Другая называлась читальней для приходящих, но книги на дом выдавались и там. В первый раз, когда я пришла в читальню, на вопрос библиотекарши: какую я хотела бы взять книгу, я ответила: «Большую, толстую,

интересную». Она рассмеялась и выбрала книгу потолще. Много книг я прочитала с отцом по вечерам. Однажды ему понравилась сказка про какого-то карлика, так он заставил меня перечитать еще раз, когда пришла с работы Дуня, чтобы и она ее послушала. И как это ни потешно звучит, но я читала ему книги с разбором, именно то, что ему интересно и полезно... Особенно отец любил сказки, много их знал и с удовольствием рассказывал. Когда я, уже взрослая, открыла книгу М. Н. Толстого с записанными им народными сказками, я поразились тому, что самые лучшие из них я уже слышала от отца, причем в его передаче сказка казалась живее, осязаемее, а отец ведь был неграмотный. Сказка уносила его в иной мир, уводила от нашей горькой жизни. Однажды с особенным удовольствием я прочитала ему рассказ о том, как одному пьющему человеку его приятель посоветовал завести копилку и класть туда те деньги, которые пошли бы на вино. Когда он через год открыл копилку, то в ней оказалось 16 рублей, он смог купить нужные хозяйственные вещи, починить избу. И даже осталось еще на кокошник жене.

Екатерина Матвеевна, занимаясь с двумя отделениями, иногда посылала меня почитать с первоклассниками. Вот-то строга я была, как-то наказала даже одну девочку: «Не умеешь прочитать слово, так вот постой». Наверное, учительница все это слышала и смеялась надо мной, но ничего мне не говорила: со своим поручением справлялась я неплохо. И тогда же у меня появилось желание выучиться и стать учительницей. В этом намерении меня поддерживал и отец. Он иногда говорил: «Вот выучишься, будешь учительницей, а мне будешь давать каждый месяц по 3 рубля». Когда мы перешли в III отделение, нам выдали для чтения книги, экземпляры были новые и старые. Мне достался экземпляр старенький, потрепанный, кое-где надорванный. А Васе Нелюбину, лучшему ученику из мальчиков, достался совсем новенький. Вот мне было досадно и завидно! Я даже оторвала от страницы в своей книге уголок немаленький, с текстом. На Рождество Екатерина Матвеевна задала нам выучить наизусть стихотворение. К моему конфузу я увидела, что оторвала как раз текст заданного стихотворения. Вася Нелюбин не оценил своей новой книжки: потрепал ее и исчеркал. Когда учительница увидела это, она отобрала у него книжку и отдала мне, а мою старую – ему. Я успокоилась. Я считалась среди девочек лучшей ученицей. Теперь справедливость была восстановлена.

Большим и важным событием в нашей школе явилось приобретение географической карты Европейской части России. Повесили ее на самом видном месте. Небольшие сведения, соответствующие нашему развитию, Екатерина Матвеевна дала нам сама. А потом мы в перемены рассматривали карту, узнали о том, где Север и Юг, где мы живем, где находятся большие города, реки, горы. Подошло время к Рождеству. И тут, к нашему удовольствию и развлечению, Екатерина Матвеевна стала разучивать с нами игровые песни «Теремок» и «Лен».

*Уж я сеяла, сеяла лен,
уж я, сея, приговаривала,
чеботами приколачивала:
«Ты удайся, удайся, мой лен,
ты удайся, мой беленький ленок»...*

Потом пели, как лен пололи, дергали, сушили, трепали... Еще была одна песня, в которой пелось уже о разных полезных мастерствах, каждый куплет заканчивался припевом: «Сумеем все мы смастерить». Я так жалею, что не записала эту песню, после ни у кого и нигде ее не слышала и постепенно стала забывать. Перед самым праздником Екатерина Матвеевна подарила всем по два тоненьких иллюстрированных журнальчика. На первой странице одного из них была иллюстрация замечательной картины В. М. Васнецова «Три богатыря». И еще учительница объявила, что в такой-то день мы

должны прийти пораньше в школу: у нас будет елка! Я никогда еще не видела наряженных елок, хотя и жила в городе, а тем более живущие в деревне. В назначенный день я должна была придти сначала к Екатерине Матвеевне, а от нее уже в школу. Я явилась к ней рано и все в том же платье, в котором ходила на учебу, но, конечно, в чистом, постиранном. Екатерина Матвеевна удивилась: «Как, ты все в том же платье, у тебя нет другого, наряднее? Нет, мама, (обратилась она к матери), я не хочу, чтобы она так была одета!». И вот ее мать, милая Устинья Степановна, порылась в своем сундуке, нашла ткань светло-сиреневого цвета, взяла меня к портнихе, живущей как раз напротив ее дома, и в каких-нибудь два часа мне было сшито простенькое, но новое платье. Устинья Степановна и Екатерина Матвеевна украсили его большим кружевным воротником. Об обуви разговора не было, так как морозы стояли сильные, все ребята были обуты в валенки.

Для проведения елки отец Михаил предоставил свою квартиру. В довольно обширной передней стояли парты, принесенные из наших классов. За ними сидели ученики, пили чай с белым хлебом и сахаром, кто сколько хотел. И как это было правильно сделано, организовано! Ведь половина учеников приходила по морозу иногда и за 3 километра из близлежащих деревень Паниклы, Берсенихи, Петряева. Отогревшись и сытых, впустили нас в зал и при ярко освещенной большой елке, украшенной скромно конфетами, орехами, посеребренными пряниками, книжечками, теплыми варежками, мы спели все выученные нами песни. У одной стены зала сидели гости, но рассматривать их было некогда. Дошло дело до «Теремка». За всех зверюшек нужно было петь соло кому-либо из учеников. За мышку вызвалась петь тихая и скромная девочка, и спела неплохо, но Екатерина Матвеевна сердито прошептала мне на ухо: почему я не вызвалась петь! Затем елку отодвинули в угол, часть огня потушили, и тут мы должны были показать свои таланты. Я в одной басне говорила за лису. Затем, в сопровождении «волшебного фонаря», мы разыграли «Сказку о золотой рыбке» А. С. Пушкина. Каждому тексту соответствовала цветная картинка. Все говорили хорошо, никто не сбился, не забыл какой-нибудь строки. Когда очередь дошла до моего отрывка, проговорила его громко и толково, ведь я очень хорошо знала эту сказку. Вдруг все гости захлопали в ладоши, я удивилась, ничего не поняла и на всякий случай тоже захлопала, думая, что так и надо. Все дети получили по большому пакету сладостей, орехов и какой-либо подарок. Я получила басни Крылова. После елки все рождественские каникулы я провела тогда в семье Екатерины Матвеевны.

Теперь, когда мамы не стало у меня, я часто задерживалась в школе, хотя там ни с кем и не дружила. А вот теперь, учась в III отделении, я нашла себе приятеля. Один раз я засиделась в школе и думала, что я одна. А когда собралась уходить, пошла в раздевалку, из дверей II отделения вышел ученик Ваня Гордеев. Он спросил меня: почему я так поздно ухожу всегда из школы? Мы разговорились, я рассказала ему, что у меня недавно умерла мама. А он мне поведал, что и у него недавно умер отец, и что ему посоветовали не тосковать о нем, так как умерших это беспокоит и они могут даже явиться среди живых людей. В нашей безграмотной среде много ходило выдуманных нелепых рассказов о покойниках, духах, о нечистой силе, домовых, леших, чертях. На углу нашей улицы стоял каменный двухэтажный нежилой дом. И про него говорили, что в нижнем этаже по ночам кто-то ходит с огнем. Мы, ребята даже боялись ходить мимо него по вечерам. Когда я рассказала в своей семье об этом доме с нечистой силой, мне просто объяснили, что в этом доме давно был пожар, сгорел весь потолок нижнего этажа, а у хозяйки, вдовы, нет средств, чтобы его отремонтировать. Поэтому дом заброшен.

После первого разговора с Ваней, мы, одевшись, вышли из школы, уселись на крыльце и он еще много сообщил мне всякой ерунды о привидениях, и кто только вбил ему это в голову! А я тогда поверила Ване и старалась меньше думать и вспоминать о маме. С тех пор вошло у нас с ним в обычай: беседовать после уроков на этом крыльце.

Заметила нашу дружбу Екатерина Матвеевна и стала поощрять ее: пошлет меня зачем-нибудь для школы и сейчас же пошлет Ваню помогать мне. Но когда окончили школу и разошлись по домам, наша дружба прервалась. Как он потом жил, какая его судьба – не знаю. А он был аккуратный, чистенький, ровного характера и какой-то не по-детски положительный. С ним мы и басню Крылова читали на елке. Думаю, что моя учительница Екатерина Матвеевна стала брать меня после занятий к себе домой, потому что узнала, что у меня умерла мать. Семья ее состояла из матери, Устиньи Степановны, далеко уже не молодой и старообразой на вид. Но душой она была такой молодой, светлой, жизнерадостной и доброжелательной, что была душой всей нашей юной компании. Старший ее сын Ваня, ему было 20 лет, работал в типографии, младший Саша еще учился, но не в Уржуме, тогда у нас еще не было среднего учебного заведения для мальчиков. Он приехал на рождественские каникулы, да так и остался в Уржуме, и где потом доучивался – не знаю. У Устиньи Степановны были еще нахлебники, живущие и столующиеся у нее. Один – молодой человек, служащий из Уездного съезда Иван Гурьянович Соколов, другой – Ваня Ершов, ученик последнего класса городского училища, он учился вместе с Сережей Костриковым. Вместе с Сашей появился и его друг – Коля Перельман. Насколько Саша был хмур и неразговорчив, настолько Коля был живой, веселый, любящий пошутить и посмеяться. Мне он очень понравился, тем более, что был он красивый мальчик. Екатерина Матвеевна жила уединенно, отчужденно от нашей компании. Придя из школы, она прямо проходила в свою комнату и мы ее больше не видели. Мы для нее – серьезной, строгой и застенчивой – были неподходящей компанией.

Коля приходил каждый вечер. Все мы были разного возраста, разного развития и характера, начиная с меня (мне было около 10 лет), кончая Устиньей Степановной, весело проводили время. Иван Гурьяныч разучивал со мной басни и стихи, Ваня Самарцев приносил мне с работы переплетенные альбомчики, тетради, а Коля заряжал нас всех веселыми шутками и смехом. Как то я спросила Колю, где же он учится? Он мне ответил, не задумываясь, что в Петербурге. Я была поражена и смотрела на него с почтением. Подумать только: он учится в Петербурге! «А что, Маня, поедем и ты учиться в Петербург!» – пошутил он однажды. На что я ему стала серьезно доказывать, что я не могу поехать, так как у меня нет хорошей одежды, нет теплого пальто, да и где я там буду жить? «Да это ерунда, не надо никакой новой одежды, а жить будем вместе» – продолжал он шутку. А я самым серьезнейшим образом принимала его предложение и отказывалась. Как только встретимся, он опять спрашивает: «Ну, собралась, наконец, ехать?». Эти наши переговоры веселили и смешили других. Один Саша сидел мрачный. Устинья Степановна не очень была им довольна, если выразиться поделикатнее. Часто ворчала на него, что он плохо учится, что бездельник. Однажды Коля спросил Устинью Степановну: почему Саша не пришел к нему днем, что он делал? Устинья Степановна ответила присловьем: «Из угла в угол бегал!». Я читала в это время сказки Кота Мурлыки Вагнера, там была одна сказка про Курилку. Вот она и прозвала Сашу «курилкой», хотя он и не курил. Часто оставляли меня ночевать. Фонарей у нас в городе не было, зимой темнота первобытная, и они боялись меня отпустить поздно вечером. Но ночевать я не любила оставаться. Какое-то чувство меня гнало все-таки в свой угол, один раз даже заплакала, когда меня не отпустили домой. А кроме того и спать мне не нравилось у них. В маленькой квартирке отдельного места не было для меня. Ивана Гурьяныча кровать стояла в передней, у Вани Ершова на кухне, около боковой стены русской печки, в зале на полу спал сын Ваня, где спал Саша – даже не знаю. Кровать Устиньи Степановны стояла в зале, большая, покрытая белым покрывалом, придвинутая к другой стороне русской печи, горячей до самой ночи. Вот Устинья Степановна и клала меня с собой, к печке. Мне было жарко и от печки, и от Устиньи Степановны, и от теплой мягкой перины и ватного одеяла.

У нас зимой в квартире всегда было прохладно: не каждый день топили, да и домик был сквозной. Зимой на кухне по утрам в пазах бревен был иней, а окна обмерзали льдом на палец толщиной. Я же ходила дома в одном ситцевом платьишке и спать привыкла не укутанная. И я старалась от них убежать домой, хотя и в темноте. Наша квартира тогда была недалеко от их дома

К лету отец переехал из старушечьего дома в квартиру на той же улице, под самой горой. Квартира была плохонькая, мне не понравилась. Маленький одноэтажный флигелек во дворе был разделен на две малюсенькие квартиры, каждая в два окна. В одной жили дед и бабка деревенские, оба старенькие, небольшого роста, словно игрушечные, смирененькие такие. В другой квартире поселились мы. А в большом доме, деревянном, в два этажа, фасадом на улицу, было четыре квартиры. В одной, вверху, жили сами хозяева. Он работал почтальоном, развозил земскую почту, уезжал из города на своей лошади дня на два-три. Земская почта включала в себя и переписку частную, адресованную в деревню или село, и полагалась марка в две копейки. В то время как обычная городская корреспонденция с другими городами оплачивалась в семь копеек.

Уедет хозяин, а хозяйка зазовет меня к себе, говорит, что ей скучно и она боится спать ночью. В другой квартире жила вдова священника с дочерью и сыном. Существовала она тем, что работала просвирней: пекла для церкви просфоры. Ее дочери Ларисе было лет 14, она перешла в пятый класс гимназии и оказалась для меня очень подходящей, хорошей подружкой. Мы с ней вместе читали одни и те же книжки, рассуждали обе, как равные. Я очень хотела поступить в гимназию и смотрела на нее с завистью.

[Квартиранты Устины Степановны Самарцевой – семья политссыльного Петра Петровича Маслаковца]

Верхний этаж дома Устины Степановны занимала семья политических ссыльных – Петра Петровича Маслаковца, его жены Веры Юрьевны и полутородаговалого их сынишки. Несколько раз Екатерина Матвеевна говорила мне, чтобы я поднялась наверх, и что меня хочет повидать Вера Юрьевна. Но я стеснялась идти одна. Наконец, Екатерина Матвеевна взяла меня за руку и повела наверх. Когда я увидела Веру Юрьевну, весь мой страх сразу пропал: у нее был такой тихий, нежный и приятный голос, и вся она была какая-то нежная, тоненькая, в простеньком платье, с гладкими стриженными волосами. Угощала она меня конфетами, какие я еще не видела. Это были засахаренные фрукты и ягоды, называли их тогда «сухое варенье». Я, не привыкшая к сладкому вообще, взяла лишь малюсенькую дольку чего-то, а Вера Юрьевна положила мне целую горсть. И это было в первый раз, что сладости мне понравились, совсем не похожие на те, что продавались в наших лавках. После этого посещения я стала иногда заходить к Вере Юрьевне.

[Зачисление в Уржумскую женскую гимназию]

Мои родители были совершенно равнодушны к тому, буду ли я грамотной, и не думали о моем дальнейшем образовании. Не думала об этом и я до одного случая. Как-то раз, у девочки, с которой я играла (отец ее был чиновником в нашем городе), я в присутствии ее матери взяла книжку и начала читать вслух. Мать ее очень удивилась, что я так хорошо читаю. «А ведь ты можешь поступить в гимназию» – сказала она.

Слова ее словно кипятком обожгли меня. И вот тогда я стала мечтать о гимназии, но как это сделать? Ясно, что 10-летняя девочка сама организовать бы не могла. Но

спасибо моей дорогой учительнице Екатерине Матвеевне и Вере Юрьевне. Екатерина Матвеевна узнала, какие нужно выправить документы, сама продиктовала мне «прошение» (теперь называют заявлением) в гимназию от моего имени: «Имею честь покорнейше Педагогический Совет Уржумской Женской гимназии допустить меня к экзаменам в I первый класс». Понятно, что и это «прошение» у меня гладко не прошло; где-то вместо одной буквы поставила другую, и Екатерина Матвеевна заставила все переписать и сердилась на меня.

В скором времени Екатерина Матвеевна куда-то уехала из Уржума, об остальном хлопотать пришлось мне самой: достать метрическую выписку и свидетельство об оспопрививании. За метрикой я обратилась к отцу Михаилу, в церкви которого я была крещена, а он велел принести гербовую марку за 80 копеек. И это повергло меня в тяжелое состояние: откуда я достану столько денег, к отцу я не обращалась, да и вообще с ним о вступлении в гимназию я не советовалась, не знала, чем он может мне помочь. И теперь я не могу вспомнить, кто мне дал эту сумму, думаю, что Вера Юрьевна, и я, зажав в кулак деньги, оправилась в казначейство. Чиновники сначала удивились, что пришла по такому серьезному делу маленькая девочка, марку мне вручили с напутствием, чтобы крепко зажала ее в ладошке, не потеряла. С маркой опять вернулась к отцу Михаилу, а он отослал к дьякону. В то время у нас был молодой дьякон, вдовец с большой семьей. По моей просьбе он тотчас же пошел в церковь вместе со мной и выписал метрическую выписку. За справкой об оспопрививании пошла в городскую амбулаторию, доктора я раньше видела, он навещал больную маму, когда она захворала горячкой.

Когда все бумаги были готовы, вложены в конверт и надписаны, тут уже иссякла вся моя энергия, я растерялась куда идти: лето, гимназия закрыта, кому отдать документы. Петр Петрович сказал, что он сам занесет, и действительно, уже на другой день занес, а мне сказал, чтобы я в такой-то день в 12 часов дня пошла на экзамен. Еще раньше, как это ни трудно при наших скудных заработках, но я добилась того, что мне дома сшили коричневое платье и белый передник.

И вот я вошла в гимназию, через открытую дверь, в назначенный день и час. Оказывается, в этот день держали переэкзаменовки ученицы старших классов, в соседней комнате стоял шум. Сторож Михайло, который много лет работал в гимназии в качестве сторожа, уборщика, истопника и гардеробщика, спросил меня, зачем я пришла. Услышав, что я пришла держать экзамен, он долго смотрел на меня молча, (вообще он не был глуп, но соображал медленно и туго), затем привел классную даму. Вышла ко мне особа суховатая, строгая, задала мне тот же вопрос, зачем я пришла. Я объяснила, что мне велено придти в этот день к 12 часам на экзамен. «Вступительные экзамены уже были весной и недавно осенью, ты пропустила срок, сегодня никаких нет экзаменов, тебе придется держать экзамен в следующем году» – строго и отчетливо сказала она мне. Но выслушав это, я с места не сдвинулась, не могла допустить, что я ошиблась в сроке. Видя, что я стою, не шевелясь, она, спасибо, не взяла на свою ответственность удалить меня, она ушла и привела начальницу гимназии, Аграфену Александровну. Это был чудесный человек. Пожилая, строгая на вид, она всей душой была предана своему делу и сердечно относилась к ученицам.

Задав тот же вопрос, что и предыдущие, и выслушав меня, она попросила классную даму посмотреть, действительно ли мои документы находятся в гимназии, и когда получила утвердительный ответ, она широко развела в стороны руки и обратилась к классной даме: «Так в чем же дело? Девочка маленькая, она могла забыть или перепутать число, так неужели ей из-за этого пропускать год? Нет, мы ее сейчас же проэкзаменуем».

Классная дама попробовала возразить, что сегодня нет в гимназии тех учителей, кто должен экзаменовать в первый класс. «Найдем кого-нибудь» – отрезала Аграфена

Александровна, обняла меня за плечи и повела в зал. Там как раз была перемена. Первого же попавшегося ей навстречу учителя старших классов (это был учитель словесности) она попросила проэкзаменовать меня. Он уселся спокойно на стуле, дал мел, чтобы писала на доске, и продиктовал маленький легонький рассказик, а я и тут ухитрилась вместо слова «сторона» написать «сторота» «Что там такое?» – спросил он, прищуриваясь, я сразу увидела ошибку, живо стерла и написала правильно. Ничего больше он не задал, не спросил, на вопрос начальницы, как я отвечаю, сказал: «Хорошо». Нашлась скоро и учительница арифметики, задала типичную задачу о продаже керосина, сколько торговец получит прибыли. Для меня такая задача оказалась пустяковой, в школе мы устно решали задачи гораздо сложнее.

Начальница была очень довольна моими успехами, отослала в соседний класс к девочкам отдохнуть, пока не придет законоучитель. Тут пришла та же классная дама и спросила меня, что я могу сказать наизусть. А я как раз перед этим выучила стихи Одоевского о смерти Ивана Сусанина «Куда ты ведешь нас, не видно ни зги, Сусанину с сердцем вскричали враги...», и начала их торжественно читать, но она меня остановила: «Уж очень важные стихи, скажи какую-нибудь басню». Начала, было, я говорить «Волк на псарне», а тут все отдыхающие сидящие девочки подхватили и всю басню прошли мы хором.

Но вот пришел и законоучитель. Последний вопрос, какой он мне задал: назвать в порядке все двенадцатые церковные праздники с их значением, то есть по каким событиям церковной истории они установлены. Если бы я не пела в церковном хоре, то вряд ли смогла бы ответить на этот вопрос. Я стала перечислять празднования, начиная с введения во храм богородицы, он согласно кивал головой, а я уже стала побаиваться, сумею ли сказать до конца, как пошла учительница и спросила его: «Ну как она отвечает?». «Хорошо». «Так что же вы ее мучите? Отпускайте». Он поставил мне пятерку. Тогда Аграфена Александровна взяла небольшой листок бумаги, написала сама четыре пятерки: по русскому две пятерки, по арифметике, по закону Божию, вручила мне со словами: «Вот, скажи родителям, что выдержала экзамены хорошо и будешь учиться». У нас еще не был педагогического совета, не решено еще, кто будет принят, но я тебе говорю, что ты будешь принята. Приходи аккуратнo 6 августа к 9 часам утра».

Как же я была рада, я летела радостная, размахивая листочком. Теперь, когда моя жизнь уже на исходе девятого десятка, и я много испытала счастливого и горестного, веселого и печального, то чувство, то состояние мое было счастливейшим и радостнейшим из всех. Сбылось такое дорогое желание!

По дороге я встретила девочку моих лет, она пристально стала рассматривать мою одежду форменную, победную бумажку в руке и стала расспрашивать меня, откуда я иду, а узнав, что буду учиться в гимназии, тут же предложила вместе сесть за парту, когда начнем учиться. И мы с ней сидели за одной партой вплоть до окончания гимназии.

16 августа начались в гимназии уроки. Когда я еще училась в церковно-приходской школе, какая-то мешчанка в разговоре с мамой начала рассказывать о порядках в гимназии и наговорила кучу нелепостей: «За всякий проступок, плохо учишься, вертишься, болтаешь, за все «исключают» из гимназии сразу же».

Я вспомнила это, сидела за уроками тихо, даже в перемены смирененькой была, но каково же было мое удивление, когда в большую перемену начальница, проходя по залу, увидела нас, первоклашек, жмущихся к стенке в зале, и громко спросила: «Что же вы стоите? Надо отдохнуть, побегать». Собрала нас в кружок и вместе с нами стала играть в кошки-мышки.

Чувство страха быть исключенной за движения и шум во время перемены исчезло, но на уроке я продолжала сидеть тихо и слушать. Но следующий подводный камень, о котором я не предусмотрела, меня сильно смутил. Классная дама написала на доске название учебников, какие мы должны приобрести, цен не обозначила, но я приблизительно прикинула в уме, что это будет стоить не менее 2 рублей, а откуда я их возьму? Вот тут-то я и подумала, что теперь, когда я буду учиться без учебников, меня обязательно исключат. Ни с кем я об этом не говорила, ждала печального конца. Но долго тосковать не пришлось. Спустя дня 2-3, в перемену, вошла в класс начальница и объявила: «Девочки, кто не может купить учебники, приходите сегодня к 5 часам в гимназию, я буду выдавать казенные». А Александра Сергеевна ни словом не упомянула об этом. Я обрадовалась и к 5 часам помчалась в гимназию. Стояло еще низкое солнышко, а из-за какой-то забредшей нечаянно тучки вдруг полил теплый мелкий дождь. Девочки со смехом, перегоняясь, бежали в гимназию. В коридоре около шкафа расположилась Аграфена Александровна, около нее лежали кучи учебников, старых, почерканных, даже рваных. Наша гимназия была слишком бедная, чтобы менять учебники, по одним и тем же книжкам учились годы и годы. Пришли ученицы из разных классов, стояли кучкой, но Аграфена Александровна приказала подходить каждому классу отдельно, парами и вызвала сперва I класс. Я встала сзади, а она увидела меня: «А, ты пришла, иди сюда, я выберу тебе книжки почище, учишь только также хорошо, как отвечала на экзаменах». Так счастливо я миновала этот подводный камень, а в дальнейшем, если не всегда у меня были нужные учебники, я научилась выходить из затруднения. Брала книги у подруг, не перед самым уроком, а заранее.

Прошла уже не одна неделя занятий, как Александра Сергеевна объявила в классе, чтобы мы известили своих родителей внести плату за право учения за первое полугодие 2 рубля. В дальнейшем плата была увеличена с 4 до 5 рублей в год.

Ну, тут уж я окончательно расстроилась. «Теперь уже все, делать нечего, меня обязательно исключат», – думала я, но опять-таки никому об этом не говорила. Ведь Вера Юрьевна могла бы дать мне эти деньги, но я не могла просить.

Но и здесь подумала обо мне Аграфена Александровна. В начале большой перемены она вошла в класс и сделала мне знак рукой, повела меня за собою, а я пошла за ней, как на казнь, тут уж я не сомневалась в том, что меня повели исключать. Привела она меня в свою комнату и спросила: «Могут твои родители заплатить за право учения?». Я ответила «Нет». Тогда она усадила меня за свой стол, дала большой лист бумаги, перо и продиктовала текст прошения от моего имени в Попечительский Совет Уржумской Женской гимназии... освободить меня от платы за право учения «так как у меня нет никаких средств существования».

Начиная с I-го класса, за все 8 лет моего обучения, я была освобождена от платы. Оставалось дело за мною – только хорошо учиться. Я была достаточно способная, быстро схватывала, помнила, да и чтение книг вне школы облегчало мне в усвоении материала.

Наша гимназия была очень бедной, никаких учебных пособий, кроме учебников-книг; в первом и во втором классах по стенам развешены были очень неважно изданные картины исторического содержания, помню портреты великих князей удельных, какие-то сцены с участием великого князя Владимира; картины по физической географии: спускающийся из ущелья ледник, самум в пустыне... Даже к волшебному фонарю существовало очень ограниченное количество диапозитивов, и того нам не показывали.

Понятно, что уже не было ни грифельных досок, ни грифелей; для всех письменных работ тетради, в 1 и во 2 классах линованные обязательно, а позднее по одной линейке. Тетради, перья, ручки, карандаши покупали учащиеся, большинство учениц были очень бережливы.

Введена была, как и во всех других гимназиях, единая форма одежды: коричневые скромные платья, для торжественных дней белый передник, для будней – черный. Воротничок платья обязательно подшивался белым подворотничком, за чистотой которых классная дама всегда следила. Учительницы, как правило, все носили синие платья, учителя в черных сюртуках, в белых рубашках с черным галстуком.

Классные дамы у нас были во всех классах. Они не преподавали, а только следили за поведением учениц, за их успехами, их здоровьем, чистотой одежды. Бывало так, что простудится ученица, на уроке сидит нахохлившаяся и укрытая платком (а нам не позволялось сидеть на уроках с платками, шарфами), классная дама сейчас же заметит и пошлет к врачу. Амбулатория городская как раз находилась близко, на той же улице, где гимназия, и для гимназисток было установлено правило – идти к врачу в большую перемену, входить в кабинет к нему без очереди. Уже после такой проверки, если нездорова ученица, отпускали домой, если здорова – то для порядка снимала платок.

В случае отсутствия преподавателя в незанятый час классная дама читала вслух что-нибудь соответствующее проходимому материалу. Ученицы сидели тихо, как на уроке; могли лишь рукодельничать в это время. В особенности в старших классах классные дамы выбирали книги, которые служили пособием: исторические статьи, по литературе критические статьи. Так мы знакомимся со статьями Белинского, и не только Белинского, наша классная дама сумела нас познакомить со статьями Чернышевского, Писарева, Добролюбова. Дома все это почитать и подумать просто у нас не хватило бы и времени и старания, да и книг не достали бы.

И наши учительницы не ограничивались только преподаванием своего предмета, а частенько, заметив резкость, грубое слово, неправильное произношение слов, шалости, озорство, вступали в беседу, поправляли тихо и вежливо. Две учительницы в младших классах сами были резкие – это по русскому языку и по географии.

Уроки утром начинались общей молитвой в зале. После окончания молитвы мы должны были петь гимн. С 9 до 12 часов с короткими переменами в 10 минут всегда назначались более трудные предметы. С 12 до 13 часов была большая перемена. Иные уходили домой обедать; большинство оставалось в гимназии, бегали, играли, пели, танцевали, в теплую погоду выходили во двор-сад. С 13 до 15 часов – опять два урока уже менее важных и трудных, как мы считали: рисования, пения, чистописания, рукоделия, для иностранных языков. Изучение языков было необязательно. Для содержания преподавателя гимназия не имела средств. В первом классе преподавала языки (немецкий и французский) одна дама, Люция Егоровна Келлер – обрусевшая немка, жена провизора аптеки. За год она взимала плату в 5 рублей. Желающих мало оказалось – 5-6 учениц. Когда Вера Юрьевна узнала от меня, что за преподавание языка нужна особая плата, она дала мне 5 рублей, и я выбрала французский язык.

[Знакомство с семьей состоятельных уржумцев Кангер]

Здесь пропуск в рукописи М.Ф. Князевой (Ермолиной)

...я познакомилась с хозяйкой семьи, Надеждой Андреевной, ее сестрой Варварой Андреевной и маленькой девочкой, на 3 года моложе меня. Раздели меня, усадили обедать, а потом послали с этой девочкой Валерией играть в ее комнату – детскую. Квартира была большая, она занимала оба этажа каменного просторного дома. Игрушек у девочки была бездна, а вот сестер или брата – не было, и любящие родители решили подыскать ей подругу. До меня к ним приводили из первого же класса гимназии двух

девочек, но почему-то они не остались. Теперь я, вспоминая этот факт, удивляюсь тому, как просто поступили со мной. Они, наверное, от классной дамы узнали, что у меня нет матери, что я, по всей видимости, бедна. Но ведь отец-то был, а с ним не переговорили, самовольно взяли девочку из гимназии и оставили у себя. Подумали ли они, что какой-то дом у меня был, что кто-то будет ждать меня после уроков из гимназии?

Тогда я только слышала из разговора Надежды Андреевны с гостьей, что кто-то недоволен тем, что они взяли меня к себе. Думаю, что недовольны были Вера Юрьевна и Петр Петрович, о чем я узнала позднее, и еще кто-то в самой гимназии. Знакомым Надежда Андреевна показала мою тетрадь с письменной домашней работой по арифметике и говорила: «За что поставлено 4? Ведь нет ни одной ошибки и написано чисто. Это несправедливо. Это придирка». И еще она говорила, теперь не помню в каких словах, что это поставлено с целью показать, что я у них стала учиться хуже. Но скоро разговоры утихли, никто ничего мне не говорил, отец мой обо мне не справлялся, и пришлось остаться у них в полном распоряжении подружкой их дочери. Даже к отцу отпустили только на часок в Рождество и Пасху. Отец не скучал, по-видимому, по мне, домой не звал. Сначала приступили к внешнему преобразованию меня. Началось, прежде всего, с одежды. В теплой квартире надели на меня шерстяное коричневое платье, ноги обули в высокие башмаки (так у нас в народе называли полуботинки), а для выхода на улицу я должна была еще надевать высокие, теплые галоши, на голову меховую шапку с красных бархатным околышем, а в более морозные дни еще обвязывали башлыком. От всего этого мне было жарко, начались насморки, кашли, чего я не знала в своей семье. Для носового платка надели сумочку через плечо, шелковую, вышитую.

Страдала я и от обедов. Каждый день, хотя простой, но вкусный и жирный обед: суп, большей частью мясной, второе – рыба, мясо, третье кушанье обязательно сладкое. Не могла я есть масляного, жирного, к сладкому не тянулась, ужасно невзлюбила желе, муссы и т.п. Заставляли есть все, а у меня после обеда начиналось неприятное тягостное ощущение чего-то тяжелого в желудке. Вместо здоровья я позеленела. К тому же мы с Валерией очень мало были на воздухе. Одних нас на улицу не пускали, во дворе было скучно, а взрослым было некогда нас сопровождать. Правда, приготовили нам коньки полу-стальные, полу-деревянные, но мы и на каток ходили редко.

После внешнего моего преобразования началось и мое воспитание, как надо вести себя. Первый урок я получила при представлении меня Алексею Ивановичу, когда он вернулся из поездки. Подвела меня к нему Варвара Андреевна, повернула меня на все стороны для обозрения и сказала мне: «Поздоровайся». Я молча поклонилась. «Сделай реверанс» – поправила она меня, а я и не знала, что такое реверанс. В дальнейшем меня научили делать и реверансы. Как-то к ним пришел Петр Петрович Маслаковец, я вышла к нему в гостиную, поздоровалась с ним, сделав реверанс. Неласково взглянул он на меня. Не понравилось ему, вероятно, что я с реверансом и сумочкой через плечо: карикатура на барышню.

До прихода к ним в квартиру я не видела себя хорошо и близко в зеркале, у нас в семье зеркала не было. Я представляла себя, во-первых, высокой, розовой, со светлыми волосами. И вот вдруг вижу себя маленькой ростом, худенькой, зелено-желтой, с черными-черными волосами. Не понравилась я сама себе. Вдобавок Надежда Андреевна, не учтя моих внешних данных, сшила мне платье každодневное ситцевое синее в полосочку, а для праздников – голубое шерстяное. Синий и голубой цвета совсем убивали меня, не шли. Лучше были розовый и белый цвета. Когда Надежда Андреевна показала меня Алексею Ивановичу в ситцевом синем, он поморщился и спросил: «А получше что-нибудь есть?». «Да, да», – поспешила сказать Надежда Андреевна – шьется розовое». Но и розовое не поправило дело. Я долго была зелено-желтая, пока привыкла к достатку, хорошему питанию, а к сладкому так и не поддавалась, конфет не хотела, только

утром перед уходом в гимназию охотно выпивала чашку молока с булкой; черного хлеба мне было достаточно в детстве.

Главной воспитательницей в то время и для Валерии, и для меня была Варвара Андреевна. После работы в школе, она сидела дома, наблюдала за нами, и, конечно, как методический преподаватель, она всегда замечала неправильности в моей речи, в произношении. А я говорила на «О», как все жители города, употребляла простонародные слова. Я прислушивалась к ее замечаниям, к речи других, а кроме того литературный язык в книгах мне много помогал; и понемногу речь моя стала исправляться. Теперь я вспоминаю Варвару Андреевну с теплым чувством, а тогда я девчонкой считала ее ехидной, недоброй и частенько ей дерзила. Все дело в том, что она очень любила свою племянницу, всегда держала ее сторону, а я и другие должны были ей угождать. Иногда она подходила к Валерии и говорила: «Принцесса, пальчик», и Валерия протягивала ей для поцелуя который-нибудь палец, или говорила: «Королева, ручку», и Валерия протягивала ей для поцелуя всю ладошку. Во всяком споре с Валерией она брала сторону ее, а не мою, если даже я была права. Взяли мы с Валерией календарь издания Суворина со множеством разнообразных сведений. Там в алфавитном порядке напечатан список всех городов и поселков России. Пришла нам фантазия эти города и поселки разделить между нами. Когда дело дошло до Москвы, Валерия сказала, что Москва ее город. Я уступила. Дошли мирно до Петербурга. Валерия опять говорит, что Петербург ее город. Но тут я не согласилась, заявила, что Петербург мой. Долго спорили. Подошла Варвара Андреевна и узнав в чем дело, предложила жеребьевку. Взяла две полоски бумаги, что-то написала на них и предложила первой выбирать Валерии. Вынула она билетик и прочитала: «Нет тебе Петербурга». Другую бумажку со словами «Петербург» взяла я. Первый билетик был написан, видимо, для меня, но к ее великому смущению и обиде Валерии попал именно ей. Она даже заплакала, не от того, что Петербург ей не достался, а от такого обидного и резкого отказа. Иногда мне не очень хотелось играть, и я один раз спросила Варвару Андреевну: «Почему Анюта не может поиграть с Валерией?». Анюта была дочерью кухарки и жила вместе с матерью у них. «Ах», – протянула наставительно Варвара Андреевна – «Как же она может играть с Валерией, ведь она дочь кухарки»... Но ведь и я была невысокого рождения, дочь сапожника... Думаю, что Анюта не смогла бы удовлетворить Валерию в ее фантазиях, в ее разнообразных занятиях и играх.

А с Валерией мы быстро сошлись. Девочка была очень развитая, начала читать с четырехлетнего возраста. С ней много читали, беседовали, и она, восьмилетняя девочка, сама хорошо читала, много знала наизусть стихов. Рассказала мне содержание поэмы Пушкина «Евгений Онегин». К Валерии ходила наша классная дама Александра Сергеевна, читала с ней на французском языке книжку про глупого капризного мальчишку. Привлекли и меня к этим занятиям. Александра Сергеевна прочтет одну фразу, потом переведет на русский язык, но у меня мало оставалось в голове французских слов. Иное дело Валерия. Способна она была и в учение, в особенности к языкам.

Впоследствии, когда училась в высшей школе, она прекрасно читала и говорила по-французски, по-немецки, читала на итальянском, английском, знала порядочно латынь и славянские языки. Готовилась к специальности по славяноведению.

По вечерам, когда Надежда Андреевна была дома, мы читали вслух по главам. И первой книгой была «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. Прочтя эту книгу, мы с Валерией переиграли все волнующие сцены приключений, изображая каждого героя с присущими ему характерными чертами и говоря его языком.

В куклы мы не играли, хотя у Валерии их было много, иногда они заменяли нам героев выдуманных нами игр, за неимением живого человека. Каждый рассказ, который нам нравился, давал нам тему для игры. Пошла раз Надежда Андреевна к начальнице

гимназии, взяла нас обоих. Они долго разговаривали о разных делах, а потом милая Аграфена Александровна сказала, глядя на нас: «А ведь девочкам-то скучно. Пойдемте, покажу вам картинки волшебного фонаря». Оказывается, был в гимназии волшебный фонарь и диапозитивы, но нам их почему-то не показывали. Повела она нас в зал и стала показывать немудреные картинки, их набор для волшебных фонарей был стандартным. Мы смотрели без большого интереса, но вдруг увидели такую картинку: на двух больших креслах сидят два молодых человека, один еще мальчик в богатых царских одеждах, а сзади их стоит высокая статная строгая женщина. Мы тотчас же спросили, кто они? И Аграфена Александровна рассказала нам о двух братьях Иоанне и Петре, их старшей сестре Софье. Мы не ограничились этим коротким рассказом, пришлось Надежде Андреевне добывать нам книги о Петре I, начиная с книги «Саардамский плотник». И вот восьмилетняя и одиннадцатилетняя девочки перечитали об эпохе Петра I все книги, какие достали в Уржуме. Одна книга была очень большая, мы ее дочитали только до XIX главы, текст о реформах Петра мы не осилили, но о жизни Петра I, его войнах, его окружении, не только читали, но и изображали в лицах. Нам даже купили саблю, барабан, шапки военные со звездами. Полтавское сражение происходило в гостиной, где было просторнее. Узнали мы и об основании Петербурга. Раз за обедом Валерия сказала, что Невский проспект первоначально назывался «Невская перспектива». Все старшие, включая и Алексея Ивановича, не поверили и засмеялись, так что Валерия обиделась, а ведь это была правда.

Выдумали мы свои страны. Она называла свою страну «Клинкте-Буна», а я Швейцарией, мне нравилось это название. Мы выдумывали и рассказывали друг другу как устроена наша страна, как там живут. В наших странах в главном городе устроен был движущийся тротуар, так, что, вступив на него в начале главной улицы, доберешься до другого конца, стоя на одном месте. От дождя мы придумали стеклянные крыши. Один раз, когда я за обедом отказалась есть жирные корочки жареного поросенка, Валерия мне пригрозила, что кто не ест жирных корочек, того не пустят в ее страну. Я ответила, что мне хорошо и в своей стране, а корочек есть не стану.

Лично у меня было еще одно занятие. Варвара Андреевна была учительницей в женской начальной школе, приносила часто тетради с письменными работами по русскому языку и арифметике. Я попросила дать мне на просмотр тетради самых плохих учениц, где встречалось больше ошибок, попробовала исправлять, а потом ставила отметки. Я мечтала быть учительницей.

Перед Рождеством Валерия заболела и не могла пойти на елку в Городской клуб. Решили повести туда меня. Я, не подозревая, что только заменяю Валерию, искренне веселилась, танцевала и пела, тем более, что там были девочки из моего класса. А в конце танцев ко мне подошел складненький мальчик, одетый в ученическую форму, и пригласил меня танцевать. А я побоялась (как это я с мальчиком буду танцевать), и сказала, что устала. А потом очень сожалела, что не пошла танцевать с ним. В чем другом, а в танцах мне повезло.

В нашем городе у купцов Бердинских старшая дочь в ту зиму осталась у родителей в Уржуме, от скуки она решила преподавать танцевальное искусство в гимназии. Она была такая представительная, статная, высокая женщина, с пышными белокурыми волосами, симпатичная и приветливая. Собрала нас, первоклашек, в зал, сначала заставила правильно и прямо ходить, кланяться, делать реверансы, а потом научила танцевать польку, венский вальс, и другие современные тогда танцы. После танцев нам с елки дали подарки: пакет сладостей, обычных на всех елках, и по игрушке. Я пошла вместе с моими подружками в другой зал, и там мы принялись рассматривать полученные подарки. Вошла Надежда Андреевна и сказала, что пора идти домой, а дома сообщила всем, что я рассматривала подарки, как свои, а ведь это подарки для Валерии. Мне было вовсе не

жаль подарков, также и Валерия осталась к ним равнодушна, но я зло подумала: «За кого же я танцевала: за себя или за Валерию?». И я снова пожалела, что я отказалась танцевать с хорошеньким мальчиком. Танцы-то были мои!

Но с Валерией мы дружили, она очень ко мне привязалась. Да и взрослые, как будто, были довольны, что она не скучает больше, весела и довольна. Но ко всему укладу их жизни, и к ним самим, я привыкала с трудом. Я еще была мала и глупа, чтобы как-то тактично противостоять или приспособливаться к ним, смотрела дичком. Надежда Андреевна вообще-то не была способна вникать в психологию другого человека, и на меня смотрела как-то недоверчиво. Часто жаловалась Алексею Ивановичу, что я резка, а он защищал меня. Я не раз слышала, как он говорил, что я – «дитя природы» и сама непосредственность, надо терпеливо воспитывать.

Один раз Надежда Андреевна услышала, как я сказала «черт». Мы с Валерией что-то долго искали среди игрушек, а я вспомнила, как среди ребятни с нашей улицы при поисках чего-либо пропавшего приговаривали: «Черт, черт, поиграй, да отдай». Надежда Андреевна резко остановила меня, она запомнила этот случай и стала бояться, что я испорчу Валерию. Пришло лето, кончилось учение в гимназии, окончила и Валерия заниматься с теткой. Теперь мы были с ней целый день свободны, играли во дворе, много читали. Нам покупали книги и выписывали журнал «Детское чтение». В нем был очень хорошие рассказы. Я даже запомнила фамилию одного автора – Засодимский. Помню большой рассказ о сыне князя Курбского, где описывалось и польское знатное общество; об артистке Марии Греминой-Запольской, об одиноким работнике-китайце, жившем вдали от родины, об избалованном мальчике, которого послали жить в деревню, чтобы научить жить более самостоятельно. И каких игр мы только не придумывали. Расшалились мы как-то с Валерией, развозились, и она, хохоча и прыгая, стала на меня нападать, повалила на пол и уселась на меня. Вдруг из своей спальни вышла Надежда Андреевна, увидела нас в таком виде и, верно была не в духе, решила: «Ты можешь испортить Валерию, иди к отцу!».

Я свое пребывание у них считала временным, нисколько не огорчилась, собиралась недолго, оделась и ушла к отцу без сожаления. Хотя отлично понимала, что дома у отца без мамы мне будет плохо. И верно. Отец не ожидал меня, отвык, рад не был, никаких забот обо мне не проявлял. Жил один. Дуня опять отправилась на полевые работы в деревню. Днем отец не сидел дома, приходил к вечеру, но не пьяный, только очень скучный. Мы и виделись мало, и никаких бесед и чтений не вели. Только один раз пришел он сильно пьяным, стал для чего-то ставить самовар, обрезал палец острым ножом и ушел из дому, я подумала, что в больницу.

Квартира у отца была самая прескверная. Я недоумевала: и с чего они сюда переехали из прежней неплохой, хотя и маленькой. Была она в конце главной большой улицы (а улица упиралась тут в болото), в полуподвальном этаже старого деревянного дома. Небольшие окна начинались с земли. В первой комнате окна выходили во двор, во второй, комнате, поменьше, одно окно выходило во двор, а другое на улицу, но из него ничего не было видно кроме ног проходивших людей. И двор был неуютный: ни кустов, ни травы, весь какой-то черный, не на чем глаз остановить. С хозяевами, истыми городскими мещанами, никаких отношений не сложилось. Они считали себя выше нас. Я на целый день оставалась одна. С задней стороны двора калитка вела прямо на берег реки Уржумки. От скуки я ходила к реке, садилась на корму одной из стоящих на привязи лодок, и долго сидела, наблюдая жизнь на реке. Скучала и раздумывала о том, что я потеряла, уйдя из семьи Капгер. Ни о чем не жалела, вспоминала только: как вкусен был вишневый компот! А чем я питалась тут, даже и вспомнить нечего: наверно, черным хлебом, да еще и без чаю, пока не возвращалась с работы Дуня. Но это тусклое мое житье скоро тоже закончилось.

[В семье П.П. Маслоковца, в доме купца Бердинского]

Еще летом Вера Юрьевна, каким-то образом узнав, что я не у Капгер, позвала меня к себе. В это время бытовые условия в моей семье оказались самыми плохими, я была очень довольна, что Вера Юрьевна взяла меня к себе.

Петр Петрович провел со мной серьезную беседу относительно того, что К. поступили нехорошо, взяв меня самовольно и также внезапно отправив к отцу. Взывал к моему самолюбию. Беседа не осталась втуне. Не понимая еще слова «самолюбие», я кое-что сообразила и почувствовала какую-то обиду, неловкость, хотя ничего плохого и не сделала.

Я уже упоминала, что у них был сынишка, в то время ему шел третий год. Он очень полюбил меня. Брала мы с ним книжку иллюстрированную, кажется, она называлась «Сто рассказов из жизни животных», усаживались в гостиной под большой стол. Я читала, рассказывала, а Юрик хорошо запоминал имена животных, сам мне их показывал и называл. Правда, он говорил еще мало. Покажет на картинке медведя и называет «бей медедь». Почти всех животных мог назвать. У него было что-то с желудком и врачи не советовали пока давать ему черный хлеб, а он его очень любил. Вот, усядемся читать, непременно под стол, так ему казалось уютнее, он подойдет к матери и попросит кусочек черного хлеба, чтобы к одному удовольствию добавить другое. Вспомнит, что у меня нет хлеба, и бежит опять к матери: «А Мане?». Была у него любимая игра: спрячется под стул или в уголок, его видно, но он воображает, что хорошо спрятался, и оттуда начинает тихонько говорить: «На дворе сыро, холодно, дождик идет, а Юичка на дворе под кустиком сидит. Ему хо-од-но». Тогда я начинаю его искать, говорю, что жалко Юрочку, а найти его не могу, и долго так хожу по комнате.... А он повторяет тихонько, что ему холодно, что идет дождь. Наконец, я его обнаруживаю, веду домой, и он в восторге.

В это лето почему-то Маслоковец переехали на другую квартиру. У Самарцевых была чистая, светлая квартира в три большие комнаты. К ним приехала погостить мать Веры Юрьевны. Вскоре после ее приезда, под предлогом, что тут тесно, они переехали в большой, каменный, в два этажа, дом Бердинского, в довольно глухом и коротком переулке, отпускаясь пологой от большой улицы к реке. Там тогда кроме домов Бердинских других жилых домов не было. При доме находился большой ухоженный сад с чистыми аллеями, с цветочными клумбами, даже с фонтаном. А по дорожкам гуляли павлины с его подружкой. Бывало, мы, ребяташки, если шли мимо этого сада, то долго стояли перед забором, ждали, когда подойдет павлин. И какое же было восхищение, когда он на наши возгласы распускал свой пышный хвост. Фонтан действовал не всегда, но бассейн был полон воды. Он, в виде огромной бочки, находился в глубине сада, на высокой деревянной площадке. Семья Маслоковец занимала верхний этаж в пять комнат с обширными и светлыми сенями перед парадным входом. Здесь летом было прохладно, здесь обедали и отдыхали в жаркие дни. Кухня находилась внизу, с отдельным входом. Так было просторно в квартире, что одна большая комната оказалась даже лишней. А все фасадные комнаты в нижнем этаже были как будто нежилые. Никто не выходил оттуда. Но однажды, когда я бежала по сеням, открылась дверь этой квартиры, появился мужчина средних лет, с темными волосами, в хорошем костюме. Увидев меня, он поспешно отступил обратно в комнату, захлопнув дверь. «Кто-то тут живет...» – подумала я, но ни у кого ничего не спрашивала. Возможно, что это был один из знакомых ссыльных, который имел причины оставаться незамеченным местными жителями. Это было летом 1901 года.

В августе мать Веры Юрьевны уехала, и они снова переехали на квартиру к Самарцевым. Много ссыльных ходило к Маслоковцам. К сожалению, я не запомнила их фамилий. Один из них, Франц Францевич, позанимался со мной немецким языком.

Началась зима. Я простудилась, плохо почувствовала себя, к вечеру, так лихорадило, что я пораньше легла спать (я спала в гостиной на оттоманке). Постлала чистое белье, сама оделась во все чистое и заснула. Вера Юрьевна все это заметила.

Проснулась я ночью, сижу на постели, а около меня Вера Юрьевна и Петр Петрович. Поговорили они, осмотрели меня и опять положили. А проснулась я совсем в другой обстановке. Я лежала в большой больничной палате, на самой крайней койке от входа.

[Уржумская земская больница]

В то время не было в Уржуме, конечно, ни поликлиники, ни больницы детской, в нашу земскую больницу детей не принимали и я, вероятно, как теперь говорят, попала туда «по благу». Петр Петрович, как врач, дружил с заведующим больницей Павлом Александровичем Спасским. В большой палате, по обеим противоположным, с широким проходом, сторонам, лежали на койках женщины, было не менее 30 коек. Посредине стояла огромная печь, она одна хорошо обогревала всю палату. Я все еще находилась в каком-то смутном состоянии, не знала, как я сюда попала, встать с постели еще не могла и опять забылась. Дня через два пришли в палату Петр Петрович и Павел Александрович Спасский, единственный врач больницы, он и заведовал больницей, и лечил от всех болезней. Оба они долго вертели меня, слушали, пришли к какому-то заключению и назначили лечение. И я больше никакого врача не видела во все мое пребывание в этой палате, ни фельдшера, ни медицинской сестры. Заботилась о нас, давала лекарство, кормила все одна и та же «сиделка» – женщина немолодая, но сильная, здоровая, ко всем относящаяся добродушно. Когда она отдыхала, совершенно не знаю. В палате она была с раннего утра до позднего вечера, и каждый день. Ее никто не заменял, не было у нее выходных дней. Вот это был труд. И какого она была ровного характера. Утром обойдет всех, поговорит, поставит термометры, запишет температуру, поставит компрессы, кому надо, даст лекарство, если прописано. И палату приберет. Разнесёт всем утренний чай, потом обед, вечером опять чай к каждой больной на столик у кровати поставит. Она и жила при этой палате. Из темной передней с одним деревянным диваном напротив входной двери находилась комната нашей сиделки, влево дверь вела в палату. В небольшой комнате помещалась ванная, конечно, нагревалась она дровами, и туалет. Вот и вся наша отдельная палата.

Я пробыла в больнице недели три. Все женщины лежали с утра до вечера, и даже те, которые могли ходить, не поднимались, чтобы посидеть или пройтись. Лекарств давали мало и редко. Думаю, что главное лечебное средство состояло в том, чтобы дать больным отдых, питание, покой. Были среди них и опасно больные, и приговоренные к смерти, но они не знали, каково их состояние и спокойно ждали смерти. При мне умерло трое: две после родов и одна чахоточная.

Видимо у меня образовалась двухстороннее воспаление легких. После посещения врачей я еще несколько суток лежала, ничего не сознавая, а потом, проснувшись, утром гляжу, а я уже на другой койке, около окна, и на моем столе куча лакомств. Тут и печенье, конфеты, виноград. Откуда, так и не узнала, но думаю, что это прислала Вера Юрьевна. А ничего не хочется. Лечение мне было предписано зверское. Вечером сиделка брала полотняный лифчик, опускала его в кипяток, потом сразу выносила на мороз, а оттуда холодный, залубеневший слегка от мороза надевала мне вокруг обоих легких, затем клеенку, вату и крепко прибинтовывала. Так было отвратительно, пока этот морозный лифчик не согрелся от моего тела.

Подошла ко мне одна больная, шла тихо, еле переступала ногами, бледная, даже зелено-бледная и попросила: «Дай мне винограду, наши приедут, купят и отдадут». Я

замахала на нее руками, говорю: «бери-бери, что хочешь». Взяла она кисть винограда, с удовольствием его ела. Но никто ее не навестил, не приехал, она больше уже не могла ходить и слегла совсем. Сиделка рассказала, что это «молодушка» из крестьянской семьи села Архангельского, у нее чахотка, и она скоро уже умрет.

Потом я пошла по палате знакомиться. Одна больная увидела на мне сапожки и сказала: «Ах, вот бы такие сапожки моей дочке». Я стала спрашивать, какая ее дочка, и где она, оказалось, эта девочка учится со мной во втором классе, Тоня Луппова. И дальше я узнала об этой больной от сиделки, что ее положение безнадежно. У нее семь человек детей, и ей врачи сказали, что ей нельзя больше родить, сердце не выдержит. А она восьмого родила, и это был ее конец. Она лежала спокойная, может быть, не знала о своей судьбе, не волновалась, не жаловалась. Дней через 5 утром рано, когда мы еще спали, ее вынесли из нашей палаты. Ее муж – диакон сельской церкви, остался с 7 детьми, старшей 12 с половиной лет. А что случилось с восьмым ребенком – не знаю. Потом к нам принесли одну молодую женщину, учительницу, после родов, она громко вздыхала, иногда вскрикивала, о ней сиделка сообщила, что ей не выжить, скоро умрет. И на другое утро ее унесли.

Но скоро я нашла себе дело. Больных было не меньше 30, а градусников только 6. Я стала помогать сиделке ставить градусники больным и вовремя их вынимать. Поставлю шестерым, запомню время, выну, сообщу сиделке, она запишет температуру, а я другой шестерке ставлю. Бедняжка чахоточная была так слаба, что не могла держать градусник сама, так ей придерживала руку.

При мне ни один человек не пришел навестить своих больных, не было у нас такого обычая, никаких передач. Но в больнице кормили хорошо и сытно, думаю даже, что у многих дома гораздо скуднее ели. Утром был крепкий чай с булкой, хлебом, на обед мясной суп, большой кусок жареного мяса, вечером опять чай, а давали ли ужин – не помню. Я ела мало, мало обращала на это внимания. Вначале сиделка уговаривала меня съесть мясо, я отказывалась, и она принесла мне яйцо. Я его чуть-чуть стукнула, посмотрела, а оно жидкое, сырое. Тогда я в следующий раз данное мне яйцо положила в печку, в горячую золу. Там оно скоро спеклось вкрутую, женщины меня похвалили за выдумку. Но вот я выздоровела. Дали мне мою одежду, я ходила по палате, прощалась, радовалась, что ухожу, вдруг входят в палату отец и Дуня со сладкими булками и конфетами. А я им навстречу иду, говорю, что уже выздоровела, ухожу и ничего мне не нужно. Откуда-то узнали о моей болезни, значит, все же следили за моей жизнью.

Из больницы я не пошла с отцом, ни он, ни я не высказали желания вместе жить. Пошла я к Вере Юрьевне.

У них стоял в гостиной книжный шкаф, вернее стеллаж, полный книг, все какие-то серьезные и мне непонятные. Конечно, об этом я судила только по названиям и переплетам. В руки не взяла ни одной. Особенно часто я поглядывала на две одинаково переплетенные книги, на корешках которых было оттиснуто «Капитал». «И что можно так много писать про капитал?», думала я. Есть люди богатые, свои деньги, свой капитал держат в банках, берут оттуда и на это живут, а что же еще? Но спросить постеснялась. Прожила я у Веры Юрьевны немного. В моей жизни вновь наметился поворот. Срок ссылки Веры Юрьевны кончился, и она, не задерживаясь, уехала с сыном из Уржума. Это было еще до Рождества. А куда меня занесет судьба, я мало думала об этом.

Там, позади, все та же запасная пристань у отца. И раздумывать мне совершенно не пришлось. Обо мне позаботилась гимназия: там изыскали средства на мое содержание, поместили на полный пансион к одной гражданке, у которой жило уже 5 гимназисток разных классов. В гимназии мне в разное время выдавали на руки 3 и 4 рубля каждый месяц для уплаты за содержание.

Хозяйка наша (фамилия Лебедева, имя Любовь), у которой мы жили, была очень симпатичная женщина, относилась к нам дружески, входила в наши интересы. Нам были предоставлены 2 комнаты. Я и две другие девочки учились во втором классе, две в четвертом и одна в восьмом, самая старшая. Она была высокого роста, плотная, даже полная, спокойная, в игры с нами не вступала и среди нас пользовалась авторитетом. Где были родители девочек, из каких они мест приехали – я не интересовалась. Никто к ним не приходил, не приезжал, никто не писал. Казалось мне, что и они такие же одинокие сироты, как и я. Жили очень дружно. Свободой пользовались полною, но не злоупотребляли ею. Вернувшись из гимназии, обедали. Потом мы, младшие, бежали гулять, зимою катались на санках с горы, которую хозяева сделали для нас и своей пятилетней дочки во дворе. При доме был огромный участок, тянулся он от одной улицы до другой, и боком примыкал вплотную к старому кладбищу, которое лет через десяток должно было быть ликвидировано. Когда кончилась зима, кладбище сделалось нашей площадкой для игр. Мы прятались за могильными холмиками, между развалившимися каменными плитами и крестами, совершенно забывая, что это кладбище, что тут хоронили. Оно все заросло травой. На кладбище стояла хорошо сохранившаяся церковь в честь святого Митрофания, и идущая от нее улица носила название Митрофаньевская. Всегда стояла запертой, церковная служба совершалась один раз в год, когда праздновали день святого Митрофания. Недалеко от церкви сохранился склеп, с запертой дверью, с выбитыми стеклами. Из любопытства мы залезли через зияющие пустотой окна, нашли там одну каменную колонну; не сохранилось никаких надписей, а пол был выстлан деревянными досками, которые под нашими ногами грозили обвалиться. В 1915 году кладбище было совершенно расчищено, через него протянулась улица и строились дома. Склеп был снесен; сохранился в углу кладбища гранитный хорошей работы памятник в виде пирамиды без надписей, а к 1957 году и он исчез.

Большая часть участка, где мы жили, заросла вишней, весной она зацвела и такой был красивый двор, чудесный запах, гуденье пчел, что невольно остановишься и залюбуешься. Набегаем мы, то по кладбищу, то во дворе среди вишенника, придем домой, наша милая хозяйка предлагает нам с ласковой улыбкой, не хотим ли холодного отваренного мяса, поставит в кухне блюдо с огромным куском мяса, даст хлеба, соли, горчицы, уксусу. Мы не отказывались, хотя скоро наступало время чая и ужина. Сами мы кроме уроков и ухода за собой, ничего не делали. Хозяйка прибирала комнаты. Было очень чисто, комнаты светлые, теплые. Кроме уроков мы много рукодельничали, вышивали, вязали крючком кружева, читали. На все у нас находилось время.

Кончился срок ссылки Петра Петровича, это уже в конце зимы. Высокий, плотный, с черными волосами и глазами, всегда веселый, часто пел отрывки романсов, помню даже его романсы. Он был родом, наверное, из Украины. Очень мягкий, приветливый, благодушный, он никогда не называл меня Маня, а у него всегда находились ласкательные: «Манюся, Манюсенька».

Перед своим отъездом он устроил у себя собрание ссыльных. Жил он после отъезда Веры Юрьевны в той же квартире у Самарцевых. Позвал меня и еще одну девочку моих лет, родственницу Самарцевых, в качестве хозяйек. Мы с ней ставили самовары, резали хлеб, булки, колбасу, поили чаем всех проходящих. Собралось у него 18 человек. О чем они беседовали в другой комнате, не знаю, но скорее всего это была просто прощальная беседа, много пели хором. Только мужчины. Водки, вина не было. Из уржумских граждан пришел только врач больницы П. А. Спасский, которому Петр Петрович представил нас, как хозяйек. Тот посмотрел на нас как-то недоверчиво и пренебрежительно, мы и его угощали чаем, как и всех.

Теперь, после отъезда Маслаковец, я поплыла по течению жизни уже одна, «без руля и ветрил», ибо я не чувствовала и, пожалуй, даже не признавала никакого влияния отца. Я очень жалела, что Маслоковец уехали из Уржума, но о своей судьбе мало задумывалась.

В эту зиму постигло меня и другое горе: смерть начальницы Аграфены Александровны. Когда я поселилась на полный пансион у Лебедевых, я стала замечать, что редко вижу ее в гимназии. Почему, я не спрашивала и только после Рождества услышала от классной дамы, что она очень больна. Перед Великим постом у нас в гимназии был вечер с постановкой какой-то пьески, пением, чтением стихов, как это происходило каждый год. После выступлений, когда уже начались танцы, гремела музыка, я и еще несколько учениц второго класса решили посмотреть на зал сверху, с хор. Побежали по темной лестнице, вступили в большую темную, проходную комнату, откуда одна дверь вела на хоры, другая в пустой класс, а третья в комнату нашей начальницы. Вдруг навстречу нам из темноты выступила Аграфена Александровна.

Она шла неровно, покачиваясь в длинном белом одеянии, глаза ее блуждали, она силилась нас рассмотреть, мы замерли от страха, а она остановила свой взгляд на мне и сказала, задыхаясь: «Маня, скажи, чтобы все уходило, я больше не могу», и опять той же неровной походкой пошла в свою комнату. Сначала я замерла от ее страшного вида, ее взгляда, но, очнувшись, побежала вниз к нашей старшей классной даме Александре Сергеевне и передала слова начальницы. Александра Сергеевна сразу остановила музыку и танцы, приказала всем ученицам живо одеваться и уходить. В жуткой тишине мы поспешно оделись и ушли, и я осознала, что видела мою милую Аграфену Александровну в последний раз. Когда утром мы пришли в девятом часу в гимназию, узнали, что рано утром она скончалась. Как я ни была еще глупа, но я чувствовала, что это большая сердечная потеря для меня. Идя из гимназии, я встретила одну ученицу, в этот день отсутствующую в гимназии. На улице через дорогу я громко спросила ее: «А слышала ли ты такую печальную весть?». На встречу шел офицер с двумя дамами. Он остановился перед ними, кивнув на меня головой, сказал: «Слышите, как эта девочка говорит? Какими словами, а?». Ему моя речь показалась, конечно, необычной для маленькой, бедно одетой девчонки. До конца учебного года временно исполняющей обязанности начальницы назначали Александру Андреевну Соломину, нашу учительницу арифметики, и я слышала разговор ее с другими педагогами, что она очень надеется занять это место.

Но вот кончилась весна, кончились занятия в гимназии, девочки из нашего пансиона начали разъезжаться (у трех девочек оказались родители), а мне в гимназии объявили, что больше нет денег, нечем платить за меня Лебедевым за пансион. Я не успела хорошенько вникнуть в это и подумать, что мне делать дальше, как Александра Андреевна Соломина предложила мне, или, вернее, сама решила, взять меня к себе на лето. Я не поняла, почему и зачем она сказала мне, чтобы я пришла к ней. Жила она со своей сестрой, совсем старушкой, в четырехкомнатной светлой квартире, две из них они сдавали в учебный год гимназисткам, две другие они занимали сами.

Меблирована квартира была просто, удобно, опрятно. Обслуживала их деревенская девушка 16 лет, получавшая 1 рубль в месяц.

Сначала мне было и чуждо, и скучно со степенными женщинами, но вскоре я приспособилась к делу. У Александры Андреевны была вязальная машина, она брала несложные заказы на вязание чулок, носок. Видя, что я заинтересовалась машиной, она стала мне показывать как на ней работать, и я уже немного стала постигать это искусство и делала успехи, но настоящее занятие, для которого, видимо, и взяла меня Александра Андреевна, оказалось в другом. Скоро к ней приехал брат с женой и маленькой дочкой около трех лет. Погостили они у Александры Андреевны немного, а потом вместе с ней отправились в Петербург, оставив дочку на попечении старой тетки, домработницы и

меня. Из всех троих бедная девчушка, внезапно оставленная родителями, выбрала меня. Я с ней гуляла, кормила ее, спать укладывала, и она настолько привязалась ко мне, что мне никуда нельзя было от нее отлучиться. Если меня нет, ни за что не ляжет спать, будет плохо есть, звать меня. Тут-то я и сообразила, что Александра Андреевна хотела к своей маленькой племяннице иметь подружку, и не ошиблась. Я очень любила маленьких детей и полюбила и Ниночку. Когда мать и отец вернулись, то в первый и следующие дни их пребывания у нас Ниночка не хотела, чтобы укладывала ее мать, а укладывала я. В первый вечер, когда стала укладывать ее мать, она громко плакала и так горестно звала: «Маня, Маня!». Я ходила по коридору и все ждала, когда ее мать позовет меня, а она думала, что я не хочу больше идти к Нине. Утром мы выяснили все, и пока они жили еще у Александры Андреевны, я ухаживала за Ниной. Девочка эта приехала потом в Уржум в возрасте 8 лет, ничего не помнила о прежнем пребывании, поступила учиться в школу, но ей трудно давалось учение; у нее оказался очень пониженный слух. Гуляли мы с ней часто в городском саду. Сад наш был чистый, в три длинных аллеи; всегда пустынный; почему горожане не посещали его, не знаю; дорожки чисты, не затоптаны, даже на них росли шампиньоны. Я их собирала, из них варили суп, жарили их; оказывается, это было значительным подспорьем в питании семьи.

Невелико было жалованье учительницы в нашей гимназии, когда семья брата уехала от Александры Андреевны, мне нечего было делать у нее. И я, не дожидаясь, когда мне скажут, что я лишняя, решила возвратиться к отцу. Отца в то время не было в городе. Он куда-то уехал, опять, наверное, затосковал. Пришла за мной тетя, собрала все мои вещички, все сама перенесла к себе, и я осталась жить с ней. И здесь я была одинока целые дни. Тетя работала, приходила в девятом часу, молча ложилась спать, а о чем нам говорить? Это было за 2-3 недели до начала учения, тетя вздумала опять поработать на свежем воздухе и вместе с Машей отправилась в деревню на жатву. А у Маши в это время был опять ребенок, дочка около года, Леночка, они меня прихватили туда в качестве няньки. На этот раз я была посильнее, мне уже шел тринадцатый год, а Лена была субтильным ребенком, и мне было совершенно под силу носить ее погулять и укладывать спать. Я радовалась, что пожила за городом. Это была та самая деревня, куда мама сбежала со мной и братишкой когда-то, в раннем моем детстве. Только, конечно, не догадалась поискать могилку брата, да и вряд ли бы и нашла: ни памятника, ни креста, ни столбика, ни надписи. Давно сравнялся маленький холмик его могилки и зарос травой.

Жили мы тоже у тетки Насти, сыну ее шел девятый год: бойкий, вертлявый, шустрый как ртуть, он очень привязался ко мне и все ходил за мной.

Через сад, из леса, по желобку текла родниковая вода и вливалась в большой деревянный бассейн, построенный с внешней стороны сада. Я больше всего любила сидеть на краешке этого бассейна. На питье брали воду прямо с желоба, а для домашних дел из бассейна. Вода была чистая, прозрачная, вкусная. Сидела, грелась на солнышке, держа Лену на руках, и вспоминала сказку об Аленушке и ее братце-козленке, только тут вместо козленка прыгал Ванюшка. Скучно ему станет, зовет меня в сад, говорит, что знает, на каких деревьях вкусные яблоки, а мне не хочется туда; тогда он с досадой перепрыгнет через забор: и спустя короткое время по желобку вместе с водой плывут и падают в бассейн мне яблоки. Получила я за работу за 12 дней 60 копеек, а Маша зарабатывала 30 копеек в день. А как мы питались – совершенно не помню. Мы так все мало ели, больше пробавлялись чаем, хлебом и благодатным воздухом.

Деревня Беково расположилась одной улицей и примыкала к самому участку с садом и домом городского головы и домом тети Насти. Какая-то пустая, скучная, очень бедная деревня, около домов ни кустиков, ни деревца. В самый ближний дом заходила не один раз. Это не дом, а буквально избушка моей крестной матери, Серафимы. Она давно ушла в город работать, сначала в Уржум, где и встретила с моей семьей, и крестила меня в 1890

году. Потом она уехала куда-то. Один раз летом она явилась в Уржум нарядная, важная, посетила маму, захотела повидать свою крестницу и пошла искать меня, а я играла с одной девочкой в ближайшем дворе. Узнала меня сразу, так как я была похожа на отца, взяла меня за руку, повела домой, посидела еще с нами и рассказывала, где и как она живет, и ушла. С тех пор мы больше не видели ее. Другая ее сестра Ольга проживала лентяйкой и продажной бабой в Уржуме. А здесь в деревне осталась еще куча ребят, что называется «мал-мала-меньше». Даже было трудно запомнить их возраст и имена. Хозяин семьи, Зот, очень небольшого роста, с маленькой круглой головой, с мелкими чертами лица, ни в какой работе усердия не проявлял, не спеша лениво передвигался и очень мало о чем заботился. Частенько выпивал, и на что он ухитрялся выпить при такой бедности – уму непостижимо. И когда выпьет, он становился оживленным, довольным, веселым, говорливым, словно забывал нужду и бедность и своих полуголодных и полураздетых детей.

Насколько Зот был уж очень не представителен по наружности и никчемности в работе, настолько его жена Степановна производила приятное впечатление. Высокая ростом, статная, еще очень моложавая, красивая дама, с розовым здоровым цветом лица, черными большими глазами, она не опустила, и хотя одета была в простой зипун и лапти, но выступала степенно, с большим достоинством. Спокойно и деловито выполняла она все домашние дела, видимо, ею и держалась и семья, и хозяйство. Двор их был пустой, никаких сараев, хлебов. Где отдыхала их корова ночью, я это не разобрала, а что у них все-таки была корова, это я знала хорошо, так как мне запомнилось, где хранилось молоко летом. Посреди двора вырыта глубокая круглая яма с ровным твердым дном, вниз вели две-три ступени, а сверху по краям ямы врыты жерди, которые вверху соединены вместе, образуя, таким образом, конус, покрытый плотно соломой для защиты от солнца. Там в жаркое время и стояли крынки с молоком. Ребята, набегавшись, спускались в этот своеобразный погреб, вынимали очередную крынку молока, пили и опять убегали. Домишко стоял незапертый вообще, как у всех, а летом и вообще с открытой дверью.

Ждала я очень начала ученья, и к самому нашему возвращению в город вернулся отец. И тут он мне строго и решительно заявил: «Будешь жить со мной, почему это берут тебя то одни, то другие. Со мной живи. Возьму квартиру, чтобы у тебя была отдельная комната, куплю лампу с абажуром». С охотой приняла это предложение. Квартиру взяли хорошую: верхний этаж только что отстроенной избы крестьянином, выходцем из деревни, на самом краю города. Окна выходили прямо в поле. У меня комната большая, два окна на солнце по фасаду, третье боковое во двор. Но, увы! Лампы с абажуром не купили, училась и читала с обычной семилинейной лампой без абажура.

Я часто оставалась одна, много читала, теперь брала книги из нашей гимназической библиотеки. Она тоже была небогата. Пришла раз из гимназии, а ключа от квартиры в условленном месте не нашла. Спустилась вниз к хозяевам, уселась у окна, а книгу принесла из гимназии такую интересную «Детство и отрочество» Л. Н. Толстого, что все на свете забыла. Вошел нищий; говорили про него, что он и глухой и немой, но у него есть дар предсказания о будущей судьбе человека. Вот мои хозяева и стали расспрашивать его, какая у кого из них судьба. Он начал объяснять глазами, руками, телодвижениями, а зрители старались угадать и объяснить каждый по-своему с пристрастием, конечно, все предсказания в более радужном свете. Спросили обо мне, как будет жить эта девочка? Взглянул он на меня веселыми глазами, широко и радостно разводил руками. А зрители мне сказали, что я буду жить счастливо, в достатке, а пока я сидела без кусочка хлеба в ожидании прихода домой отца или тети. Хозяева были крестьяне, выселившиеся из деревни, но заработки их были незначительными, а расходы с постройкой дома истощили их средства настолько, что по временам они питались еще хуже нас.

Но наша бедность меня нисколько не тяготила. Никаких других занятий, кроме уроков и чтения книг, у меня не было. Всякие домашние дела по-прежнему исполняла тетьа Дуня. Мне не один раз передавали через классную даму, что Капгер зовут меня к Валерии, что она скучает, плачет даже. Я слушала это, но не шла. У меня все еще оставалось какое-то чувство обиды, и я вспоминала слова Петра Петровича, что у человека должно быть самолюбие, да и просто мне не хотелось играть. Мне уже минуло 13 лет, я дома пользовалась полной свободой, была даже на первом месте в нашей, хотя и нескладной, семье.

Здесь я опять встретила с теми девочками, с которыми играла до гимназии и с некоторыми из них училась в одном классе. Мы даже какой-то спектакль вместе устроили. Помню, разыграли «Разбойники» Пушкина. Постановка была у нас в квартире, а после отец играл на гармонике танцы, а мы весело поплясали.

Но однажды вечером пришла Варвара Андреевна и попросту заставила одеться, взяла за руку и увела с собой. Пробыла у них вечер субботы, переночевала, а в воскресенье вечером ушла домой. Больше в эту зиму я у них не бывала, совсем отвыкла от них.

А с отцом у меня установились отношения на равных правах. Я уже не боялась его, тех сцен буйства не повторялось. Если и выпивал, то был тих и спокоен. Как-то утром, когда пили чай и вели беседу, я тоже приняла участие в ней и оспаривала свое мнение. Вдруг отец с досадой сказал: «Вот спорщица, как мать» А я всплыла и резко ему ответила: «Не смей говорить ничего плохого про мою мать». «Ах, как ты со мной разговариваешь...» – начал он сердито и громко, но скоро затих, замолчал. Да, теперь думаю, хорошо бы раньше при жизни мамы так вступить за нее, но, к сожалению, никогда и ничем не вернешь того, что было упущено в прошлом. В другой раз мы сшиблись с ним нашими характерами. У меня были деньги – несколько рублей, которые оставила мне Вера Юрьевна на покупку учебников. Хранила я их, ни одной копейки не истратила на пустяки. Лежали они в незапертом сундуке у тети, никто их не трогал. Днем как-то пришел отец немного выпивши, но верно еще захотелось, а денег у него не было. И он вспомнил о моих деньгах. «Дай мне твои деньги» – приказал он, а я на это твердо ответила: «Не дам». Он еще строже крикнул: «Тебе говорят, давай!». Мне было понятно, на что они будут истрачены, и я ответила также твердо, что не дам. Он буквально пришел в бешенство, поднял кулак над моей головой и закричал: «Убью!». Я не испугалась. Я знала, что он не убьет и даже не прибьет меня. Я подошла к нему близко-близко и глядела ему в глаза с вызовом. Он опустил кулак и с гневным и досадным восклицанием, каким-то выдохом: «Э-эх!», отвернулся и ушел из дому. Больше об этом не было ни разговоров, ни воспоминаний, деньги мои остались целы и пошли по назначению. Вспоминается мне еще один случай из этой совместной нашей жизни с отцом. В декабре-январе у нас всегда сильные морозы. У меня были сапоги и галоши, но в самые морозные дни (около 25 и ниже), ноги мерзли в галошах, а погулять хочется. Погода солнечная, снег так и искрится, и зовет в чистое поле перед нашими окнами. Вернувшись домой с улицы, сказала с досадой: «Ноги зябнут», и не помню сейчас какими словами, но я выразила недовольство, что у меня нет валенок. Отец стал утешать меня, что он обязательно купит мне валенки, называл своей милой дочкой, эта ласка, кажется, была единственный раз. Но валенок он так и не смог купить, и я о них забыла, благо морозы кончились.

К весне отец опять исчез куда-то, осталась я с тетей Дуней. А как раз в это время в гимназии организовывали общежитие для бедных учениц, вспомнили в гимназии обо мне и взяли меня туда, когда отца не было дома.

Когда я училась в 3 классе, и прошло уже несколько недель с начала занятий в гимназии, к нам явилась назначенная из округа новая начальница Мария Николаевна

Вешнякова. Немолодая, очень солидная на вид, с хорошими манерами, спокойная, сдержанная, вежливая; к ученицам с 5 класса она уже ко всем обращалась на Вы. Это «Вы» заставило и нас быть сдержаннее, серьезнее. Но, однако, я ее сразу невзлюбила. Однажды, после звонка на урок, наш 3 класс еще не успокоился, громко разговаривали, смеялись, даже многие вскочили с мест, этот шум и беспорядок услышала Мария Николаевна. В наш класс вел небольшой коридорчик из передней, и еще идя по коридору, она крикнула: «Что за шум после звонка?», и все ученицы, услышав ее голос, сразу замолкли и уселись на свои места за партой. Только я осталась стоять, я не умела прятаться, а как стояла за своей партой, так и осталась стоять одна на весь класс. И новая начальница получила первое плохое впечатление обо мне, как о более озорной, и велела выставить мне в журнал 4 за поведение. Это у нас считалось позором, это была единственная четверка за поведение за все годы учения, и с тех пор я ее невзлюбила. Ведь, она слышала не только мой голос и, входя, заметила, что многие ученицы были не на месте, а обрушилась на меня...

Почему так случилось, я этого не могла объяснить, но в этот год в третьем классе я училась хуже. Среди зимы я не замечала этого – отметки были 4 и 5, а вот за год я получила вторую награду – один похвальный лист, а раньше, за первый и второй классы, получала первую награду – похвальный лист и книгу. Но что я ленилась иногда учить уроки – не помню. Учительница истории вызвала меня рассказать о смутном времени и первом Лжедмитрии, а я только прослушала ее рассказ на уроке, а дома не прочла об этом в книжке. Ну, ответила неважно, получила 4 и решила, что больше вызывать она меня не будет, и на следующий урок уже о втором Лжедмитрии тоже не читала. И вдруг учительница опять меня вызвала; не подготовившись, я отвечала тоже плохо и получила 4. Вот, вероятно, такие-то случаи и снизили мои успехи.

Для общежития в нижнем этаже гимназического здания оборудовали большую комнату. Нас было 17 девочек из разных классов и даже особая надзирательница Глушкова (имени ее не помню сейчас), окончившая ранее нашу же гимназию. Но была ли она нам нужна? Мы учились без принуждения, хотя, конечно, не все с рвением и старанием. Друг другу мы не мешали неизбалованные в домашней обстановке, большей частью сироты, мы были тихи, серьезны, читали, рукодельничали, никакого баловства, никаких проделок. Младшие обращались за помощью к старшим. Я чувствовала себя свободной, необязанной.

Кончилось учение, опять передали от Надежды Андреевны не просьбу, а приказ обязательно прийти к ним. Пришла я, она стала ласково говорить, что надо отдохнуть на свежем воздухе, но, конечно, ей просто хотелось опять привлечь меня в качестве подруги дочери, тем более, что они уезжали из города куда-то на дачу. Пришлось пойти к ним, но новизна поездки и впечатлений скоро вытеснили из моей головы всякие мысли о бывшем моем чувстве обиды, да и Надежда Андреевна старалась быть поласковее. И я жила все лето, ни о чем не задумываясь, ни от чего не страдая.

[Лето на даче у Кангер]

Дача стояла на правом берегу реки Вятки, от Уржума около 100 верст расстояния. Собравшись, сперва поехали на лошадях до пристани Цепочкино, потом на пароходе до слободы Кукарка (в настоящее время районный город Советск), а оттуда опять на лошадях, на этот раз вниз по реке Вятке – прямой дорогой до рыбацкого большого села Петропавловского. Оттуда надо было на местных лошадях верст 5 проехать до леса, где находилась дача, или же спуститься на лодках. Это уже было прекрасное путешествие для меня, не выезжавшей ранее никуда из города. И замечательное место оказалось, куда мы приехали. Большой, густой хвойный лес, еще молодой, чистый, не затоптанный, в своей

первозданной красоте, с дивным, здоровым, крепким запахом ели и пихты; среди леса солнечные поляны, заросшие густой цветущей травой, а позднее (начиная с 1 июня по старому стилю) лесной земляникой. Было много ягод, грибов в лесу, рыбы в реке, но всем этим, ни мы, ни жители близлежащей деревни не пользовались, не трогали. Мы были слишком ленивы, чтобы собирать самим, а окрестные жители посещали этот лес редко, он принадлежал хозяйке дач Якимовой, у которой на самом берегу р. Вятки стояли 2 дома, двухэтажные, просторные с балконами. В одном жила семья хозяйки, в другом знакомая семья из Кукарки. В расстоянии квартала, на самом берегу в лесу, был выстроен для семьи Капгер одноэтажный деревянный дом в 6 комнат с балконом и отдельным входом в кухню. Ветки елей касались окон. Берег был высокий, крутой, каменистый, внизу купальня и лодка.

Сама Якимова была вдова почтенного возраста. От мужа ей досталось дело – парходство – по реке Белой. Практически всем делом заправлял ее старший сын; другой сын учился в университете, третий в реальном училище. Дочь окончила этой весной в Казани институт для благородных девиц (среднее учебное заведение), чем-то долго болела. Приехала худой, стриженной, носила чепчик, от всего оберегалась. Для нее специально организовали домашнее производство кумыса; выписали опытного татарина, купили кобылу. Мы попробовали кумыс, нам не понравился. Приезжали еще к ним родственники – внук, племянники.

Во второй даче жили мать с четырьмя мальчиками. Старшему лет 15, младшему 7. Они жили уже много лет здесь. К ним приезжали их двоюродные сестры, братья. Так что компания подростков образовалась порядочная. Наша семья сплошь состояла из женского сословия: Надежда Андреевна, Варвара Андреевна, Софья Андреевна, знакомая девочка, тоже взятая, чтобы Валерия не скучала, две домработницы, итого 8 женщин. Надежда Андреевна боялась, что наша дача стоит одиноко и далеко от хозяйской и наняла дворника. Лишним он не был, хотя нас стеречь не от кого было, зато ему приходилось ездить по разным делам в Кукарку и село Петропавловское за продуктами. В Петропавловском в обычной деревенской лавочке продавали черный хлеб, сахар, крупы, керосин, спички, табак. Время от времени нанимали лошадь, посылали дворника или горничную в Кукарку за более изысканными продуктами и за бытовыми мелочами. Молоко было свое. По приезде на дачу Надежда Андреевна сразу купила корову из соседней деревни за 28 рублей, корм был для нее не купленный. Корову гуляла по лесу, питалась свежей травой, иногда дворник и косил для нее. Для ночного отдыха устроен был летний загончик. Когда мы уезжали с дачи, корову продали бывшим владельцем за меньшую цену. Так что, все время нашего пребывания там, у нас всегда было свое молоко, творог, простокваша. А иногда в ручной маслябойке мы сами сбивали и масло. Из соседней деревни приносили крестьянки цыплят, продавали их парами, пара от 10 копеек до 16, соответственно их возрасту. Устроили большую клетку, подкармливали их. А деревенские девушки снабжали нас ягодами: земляникой, малиной, черникой, и красная цена, которую они просили, за корзину или ведро – 50 копеек. На погребке всегда стояли корзины лесных ягод, после обеда, на третье кушанье, всегда ели на выбор ягоды с сахаром и молоком. И грибов было много в этом лесу, только мы не собирали их: старшие все были полные, солидные особы, им это было трудно и не влекло, а мы занимались играми, чтением, да нас и не отпускали никуда одних. Плата за дачу была 100 рублей за лето.

Жили спокойно, играли около дачи, не делая никуда никаких далеких прогулок. Все прекрасное в природе было около нас. Иногда днем вдруг услышим характерный звук цоканья белки у самого крыльца; она, не боясь нас, и прыгает, и щелкает на елке около крыльца, при этом были белки не рыжие маленькие, а покрупнее, с серой шерсткой. Не знаю, правильно это или нет, но кто-то говорил, что это порода сибирских белок. Один раз вечером, когда уже начало смеркаться, мы услышали сильнейший шум, но довольно

далеко от нашего дома, не могли разобрать в каком именно месте: у нас ли на берегу, или на противоположном. Шум, в котором сливались и резкие металлические звуки, и человеческий протяжный вой, продолжался долго. После нам сказали, что появились близко волки, даже разнахалились так, что напали на девочку, ехавшую верхом на лошади, и жители устроили такую шумовую облаву, чтобы волков прогнать подальше. Нас, девочек, никуда и не отпускали одних. И на лодке мы катались со взрослыми, или с мальчиками с тех дач: они были хорошие пловцы, умели хорошо справляться с лодками, которых у хозяйки было много разных типов: байдарки, ялик, шлюпка, простая лодка, большая для багажа «завозня». Хотелось мне иногда пошляться по лесу и грибов поискать, как раньше в своей семье, но нечего было об этом и думать, я всегда находилась около Валерии. Но однажды в это лето я испытала путешествие с приключениями. В один из пасмурных дней пришли три мальчика с соседней дачи и попросили Надежду Андреевну отпустить меня с ними погулять. Куда они отправлялись, мне было неясно, кроме того я, еще мало знакомая с ними, возможно, что и отказалась бы, но Надежда Андреевна сразу, не спрашивая моего согласия, сказала мне: «Иди, Маня». На всякий случай надела на меня сапоги и галоши. Оказалось, что им надо было на ту сторону реки Вятки. Нас другие мальчики перевезли на лодке, а сами уплыли обратно. Погода серая, ветреная, но шли мы бодро и весело; оба старшие с охотничьими ружьями. Шли не торопясь, разговаривали и понемногу знакомились. Одному, Володе, было лет 15, двум другим, Коле и Васе, по тринадцать с половиной приблизительно, а мне тоже тринадцать с половиной, но я была такая маленькая против них, тоненькая, тихонькая, больше молчала, хотя они старались меня втянуть в разговор. Пройдя обширную низкую луговину по проезжей дороге, мы поднялись к невысокому лесу, а там вскоре вошли в деревню. Здесь мальчики взяли у крестьян масло, яйца, набив полную корзину, и отправились обратно. Как потом я узнала, это расстояние от берега реки до деревни было 5-6 верст. Но я не устала, наоборот взбодрилась от ходьбы. При выходе из деревни сначала вспрыснул дождик, а потом выглянуло солнышко. Мы немного освоились, развеселились, расхрабрились, и мальчики решили идти к берегу не дорогою, которая петляла, а напрямик, без дороги, по равнине. Захотелось домой поскорее. Но после дождей все низинки налились водой, а иногда встречались и настоящие болотца. Стали обходить эти лужи и болотца, то повернув вправо, то влево, а иногда и назад, но вперед к берегу продвигались мало. Они-то были в высоких сапогах, а я в низких ботинках и как не обходи эти лужи и болотца, мои ботинки и галоши все-таки наливались водой. Когда наполнятся, сяду на траву, сниму их, вылью воду, и снова обуюсь. И так несколько раз. Я начала уставать, да и они тоже. Стало смеркаться, и тогда мальчики решили идти прямо по лужам и болотцам, не обходя их, имея перед собой цель на том берегу: хозяйскую купальню и привязанные к ней лодки. Володя распорядился так: дойдя до болотца, он вручал оба ружья Коле, а Васе корзину с продуктами, а сам брал меня на руки и переносил через болотца. Коля был леноват, ворчал, что надо нести два ружья из-за меня, Вася молчал. Таким образом, мы, измокшие и усталые, добрались до берега, вызвали лодку, переплыли, а тут и дом. Какой же я горюшкой явилась домой! Надежда Андреевна ахнула: платье мокрое, про обувь и ноги и говорить нечего; молчу от усталости, а она начала на меня ворчать: «зачем пошла», а я не понимаю, зачем она меня послала. Но отдохнувши, подкрепившись обедом, я была в душе довольна этим путешествием; все-таки это было куда интереснее, чем вертеться на площадке перед домом, да играть в крокет, в кегли и другие выдуманные нами игры.

Читала где-то Валерия, что те, кто работают в поле и остаются отдыхать в поле на ночь, варят «полевою кашу». А она была девочка с аппетитом, и ей захотелось полевой каши. Ну, раз ей захотелось именно полевою, то отправились всем домом на противоположный берег реки, не в поле, до него еще надо было идти долго, а расположились на равнине, поближе к лесу, разожгли костер, вынули посуду и немедленно принялись варить. Оказалось, что это не так вкусно, как ожидали.

В разваренное пшено положили соли, какого-то сала и поели этого варева без всякого аппетита. Мы-то, ведь, были не рабочие в поле, а сытые и праздные. Больше ничего старших и Валерию не заинтересовало здесь, стали собираться домой, а я в это время ушла в лес и стала углубляться все дальше. Слышала какие-то крики, не обратила на них внимания, шла и шла дальше. Потом ясно разобрала, как Володя кричал: «Маня», спохватилась и поскорее вернулась. Конечно, Надежда Андреевна сделала мне выговор, а мне было так жаль уезжать. Этот лес был сплошной сосняк. Когда мы шли дорогой по лесу, где на открытых местах дороги припекало солнце, я наступила сапогом на сухой сучок, хворостинку. Вдруг эта хворостинка изогнулась, и концы ее поднялись кверху. Я рассмеялась и сказала: «Вот так сучок, двигается сам». Володя закричал: «Держи, держи его крепче», подбежал и взял осторожно за тыльную часть головы небольшую змейку-медянку и понес домой. Летом наши дачные мальчишки собирали всякую живность в поле и в лесу, все это сушили и накальывали, держали в спирту и осенью увозили в гимназию. Мы считали, что медянки ядовитые, но по-настоящему они совсем не опасны. На нашем высоком каменистом берегу обитали гадюки, тут для них оказались самые подходящие условия для жизни: камни, проточная вода, кусты. К гадюкам мы привыкли, нисколько не боялись, хотя некоторые достигали длины не менее 75 см. Увидишь лежащую или даже спящую гадюку на поляне, на солнышке, топнешь ногой, стукнешь палкой, бросишь камешком, и она сразу встрепенется и моментально исчезнет между камнями, в траве, в кустах. Вреда от них не было, а вот от нас вреда им было много... А что касается ужей, так мальчишки настолько к ним, безвредным, привыкли, что пускали такого, похожего на змею, красавчика под рубашку на голое тело. Мы, девчонки, не могли этого делать.

В июле в нашем поселке из трех домов было два больших праздника. Один в день именин Володи, 15 июля по старому стилю, а второй праздник 19 июля – день рождения нашей владелицы – Якимовой. К Володе шла вся молодежь. А вот к Якимовым приглашались все на обед и долго еще после развлекались, чем могли. Много пели хором. Внук Якимовой, Сережа «Вятский», так мы называли его в отличие от Сережи Якимова и Сережи Троицкого, обладал хорошим слухом, и под его наблюдением и управлением мы пели часто и много. Сокращенно мы звали этих Сережей так: Сережа Я, Сережа Ты, Сережа Вы. А уже после праздника 19 июля начались разговоры об отъезде; нашей семье путь предстоял довольно сложный, дорогостоящий и хлопотный: добраться до Кукарки, до паровой пристани. Когда в Кукарку пришел пароход сверху, наши знакомые попросили капитана парохода остановиться против нашей дачи и взять с лодки багаж и пассажиров. Получили согласие капитана взять нас в назначенный день. Так как пароходы редко ходили точно по графику, то мы уже с утра приготовились к отъезду. Собрали багаж, которого Надежда Андреевна всегда много забирала с собой, позавтракали, оделись и со всем багажом устроились на берегу в ожидании парохода. На берегу же, на вольном воздухе и закусывали.

Погода была летняя, август в наших краях всегда был хорош. Солнце не пекло, а только приятно грело. Пароход, приближаясь, дал громкий свисток издали. Весь багаж живо перенесли в большую лодку, широкую плоскодонную, называемую «завозня», перешли в нее сами и выплыли на середину реки. Пароход, подходя, дал еще раз свисток, повернул носом против течения, опустил якорь, а с борта спустили лестничку. И два матроса по бокам ее живо подхватили и водрузили на палубу сначала весь живой состав, потом багаж. И с тех пор, а мы ездили на эту дачу ещё три лета подряд, мы точно так же доставлялись и на дачу, и с дачи. В нашем Цепочкине тоже договаривались с капитанами, чтобы высадить нас против дачи, и всегда все они охотно соглашались. Вообще на пароходах пассажиров тогда было немного, большого наплыва никогда не бывало, всегда оставались свободные каюты. А плата за провоз багажа и пассажиров в количестве 8-10 человек, при этом в каютах 1 и 2 классов заметно увеличивали доходы парохода.

Купание, катание на лодке, беззаботная жизнь в лесу, на просторе, здоровый чистый воздух, скромная, но питательная пища – все это так подействовало на меня, что я поздоровела, окрепла, наконец-то и цвет лица стал розовый. Когда вернулись в город, то знакомые семьи Капгер обращали на это внимание, как я поправилась и поздоровела.

По прибытии в Уржум я вспомнила, что перед отъездом на дачу жила в общежитии гимназии, где мне было очень хорошо, и каким-то образом сумела без задержки уйти от Капгер в общежитие. В нем все места, все койки уже были заняты и меня направили в группу девочек, живущих в каменном здании, которое снимала гимназия для двух классов. Там нам, семи девочкам, было предоставлено две комнаты. В этом же здании находилась и комната начальницы, она и надзирала над нами. Впрочем, надзирать над нами и не требовалось. Мы жили, словно в семье, ходили в классы, учили уроки, много рукодельничали, читали. Конечно, и шалили, и смеялись, и выдумывали всякую всячину. Но ничего вредного и предосудительного. Ведь все мы были избалованные, а условия в общежитии далеко превосходили возможности домашних условий. В это время при гимназии, на средства, добытые нашими дамами-общественницами, была открыта еще столовая для самых необеспеченных приходящих учениц. Постановка дела была простая. Одна и та же кухарка в каменном доме готовила обед начальнице и нам, общежиткам, и приходящим ученицам. Обедали приходящие в зале, суп им разливала сама начальница, а мы, семь человек-общежиток, должны были дежурить, помогать в столовой, главным образом, резать хлеб, что приходилось нам делать каждой через семь дней. У меня от этого занятия на указательном пальце образовалась большая твердая мозоль. Сохранилась у меня фотография столующихся гимназисток.

При каменном здании был большой запущенный сад, где мы после уроков сидели и играли. Приходила туда и начальница, а на улицу нас не тянуло. Раз мы затеяли в саду такой спорт: стали прыгать через стол, довольно низкий. Наша начальница добродушно наблюдала за нами, смеялась. Только когда Анюта Винокурова прыгнула неудачно и ушибла ногу, она посоветовала больше таким спортом не заниматься. Вообще она относилась к нам по-домашнему просто, как добрый друг.

Против окон этого дома по субботам располагался базар. Приезжали из деревень со своими продуктами крестьяне. Вот нам захотелось свежих огурцов. Собрали несколько копеек, я взялась сбегать и купить. Купила, но чтобы пронести незаметно, рассовала их под лифчиком платья. И когда бежала обратно, навстречу мне спускалась начальница: «Маня, что это у Вас?» – спросила она, видя что-то неладное с платьем. Делать нечего, я созналась, что это огурцы. Она меня не забранила, не стала выговаривать, а заботливо стала говорить, что огурцы очень холодные, я могу простудиться.

Одна из наших общежиток, Ава Кошурникова, влюбилась в учителя пения, он тоже был неравнодушен к ней. Начальница знала это и покровительствовала им в их любви. Придя раз откуда-то из гостей, она вручила девочке цветок, который будто бы послал ей учитель. Этот учитель приехал в наш город летом 1900 года вместе со своей женой, мальчиком каким-то лет 12 и большой клеткой с птицей. Как раз я тогда сидела у Самарцевых, и мы все наблюдали из окна как он подъехал со всей семьей и багажом к нанятой им квартире на втором этаже дома Самарцевых. Дело было вечером. А через два дня, днем, у них в квартире начался такой шум, стук, визг, крик невообразимые, что-то полетело большое и тяжелое по лестнице, а вскоре после этого скандала как-то незаметно исчезли женщина, мальчик и клетка с птицей. Остался этот учитель. Оказалось, что жена уехала совсем от него, и они начали хлопоты о разводе. Так он и оставался одиноким до 1901 года, когда получил документ о разводе и торжественно явился к Аве, уже кончившей гимназию и работавшей в качестве бонны в одном семействе. И они немедленно вступили в брак.

Не успела я прижиться и в этом отделении общежития, как за мной прислала опять Надежда Андреевна и начала меня уговаривать, чтобы я, хотя бы временно, пожила у них, она и Алексей Иванович собираются ехать в Петербург по каким-то делам, Валерии будет скучно без родителей: «Ей будет веселее с тобой, а когда мы приедем, если захочешь, можешь вернуться обратно в общежитие». Я хмуро приняла это предложение, мне больше нравилось жить свободной в общежитии. Пришлось остаться в их доме на довольно продолжительное время. Валерия была довольна моим обществом и не скучала. Когда Надежда Андреевна возвратилась, я ждала, что она отпустит меня обратно в общежитие, но проходит два, три и больше дней, идут недели, а она молчит. Ждала я, ждала, наконец, решила сама напомнить ей об этом. У них был обычай: после обеда все члены семьи подходили к ней поблагодарить ее и целовали. Я после обеда подошла, поцеловала ее и сказала: «До свидания!» «Как, до свидания, куда, почему?» – так и вскинулась она. Я ей напомнила об ее обещании: отпустить меня, когда они вернутся обратно. «Нет, нет, никуда не уходи, живи и не думай уходить» – таким был ответ. Что мне было делать? Начальница за меня не вступится, она весьма ценила тех, кто приносил гимназии пользу. А как раз Алексей Иванович был председателем Попечительского совета гимназии, а Надежда Андреевна – председателем Общества Вспомоществования бедным ученицам. Так что, к начальнице мне было идти бесполезно, а к отцу скучно. Да он и не заботился узнать где я. И я осталась у них. Благодаря прожитому лету вместе с ними, мне было уже легче вживаться в семейный городской уклад, ладить с членами семьи. Хотя я все же считала, что у меня есть своя семья, есть отец, и я могу к нему вернуться.

Училась я хорошо, только что-то мало времени отдавала урокам, зато много читала. Мы с Валерией опять придумывали разнообразные занятия. Была у нас игра в «библиотеку». Одна из нас была библиотекарь, другая же должна приходиться в библиотеку, но не говорить своего имени, а всем своим видом, манерами, поведением, стилем выражений изобразить лицо, вычитанное нами в книгах: историческое или литературное. То Петр I просил у библиотекаря книгу о Морских уставах, то приходил мальчик (герой из книги «Серебряные коньки»), который засыпал при каждом удобном случае. Или мы строили машину и летали на другие планеты. У меня долго хранился дневник с описанием нашего «пребывания» на Венере. Или мы, одевшись в белые платья, усадив учительницу Валерии за пианино, заставляли ее играть нам танцы. А сами, опять-таки, не просто топотали две девчонки, нет: танцевали все героини наших книг. Даже Рамзес II старался пригласить немислимую партнершу, даже герои Жюль Верна и все известные исторические личности, о которых мы читали.

Катались очень немного на коньках, но мало вообще были на воздухе и не болели. Без особых приключений прожили всю зиму. Я перешла в пятый класс гимназии опять с первой наградой. А на лето поехали на ту же дачу близ Кукарки, на реку Вятку. Надежда Андреевна уехала на Кавказ лечиться, хозяйками остались ее сестры – Варвара и Софья. И девочку Соню опять взяли, чтобы развлекать Валерию. Соня была девочка неглупая, практичная, не капризная. Сogласная на все игры, и на все роли, которые мы ей предоставляли в наших фантазиях. Много сочиняли всяких подробностей в разыгрывании нашествия французов в 1812 году. Здесь Соня, она еще неграмотная была, получила роль обезьянки, которой сделали, якобы, операцию языка и она стала говорить. Она была довольна этой ролью: и поболтать, и поплясать.

С отцом у меня сложились такие отношения. Весной, когда я еще жила в общежитии, отец вдруг уехал в Вятку. Может быть, на него опять напала тоска, и он без всякой цели снялся с якоря и быстро уехал. Из Вятки он мне прислал письмо с адресом, куда просил отвечать ему, я тотчас же написала ему, но от него больше во все лето не получила ни одного письма, ни весточки. Я не понимала, почему он молчит и иногда тоскливо задумывалась. Вот задумаюсь иногда, а Варвара Андреевна уже заметит: «Что сидишь так, не играешь, не гуляешь с Варенькой? Ты думаешь, что ты уже большая, нет,

ты еще маленькая девочка». Вот займемся мы с Варенькой и Соней какой-либо игрой, весело смеемся, а Варвара Андреевна опять: «Что ты все играешь, ничего не делаешь, ты думаешь, что ты еще маленькая девочка, нет, ты уже большая». Мне это надоедало, я понять не могла какая я девочка, маленькая или большая. Да и что делать, какую работу?

Однажды она на балконе разговаривала с соседкой с другой дачи, а я сидела недалеко на скамейке и слышала, как она говорила: «Ведь Маня у нас ничего не делает, она растет как барышня. Даже пойдет в баню, так оттуда свое белье не унесет, все это делает горничная. А я, правда, внимания не обращала на то, кто уносит белье, и вообще не знала, что мне надо работать. Семью обихаживали кухарка, горничная, а на даче еще обязательно дворник. Я этот разговор запомнила.

В это лето я не только задумывалась, но временами даже тосковала. И нашла себе занятие от тоски: стала ходить в соседнее рыбацкое село Петропавловское, в церковь. Этому никто не препятствовал, а я отдыхала душой, когда шла одна среди такой чудесной природы, наслаждалась одиночеством и свободой. Тут уж Варвара Андреевна никаких замечаний мне не могла делать. Встану в воскресенье рано утром, иду по высокому берегу реки: слева лес, где много птиц, а иногда встретишь и гадюку, которая уляжется посреди дороги погреться на солнце. Топнешь ногой, она быстро спрячется в кусты среди камней.

Приходила я в церковь так рано, еще заутреню служили, а потом отстою раннюю обедню и всю позднюю. Церковь была довольно большая, светлая, чистая. Раз священник после обедни спросил меня: «Откуда Вы, барышня? Я смотрю, Вы каждое воскресенье приходите, и так рано. Откуда такая усердная молещница?» В это лето к хозяйке приехал отдохнуть ее отдаленный родственник, епископ, со своим сыном студентом в качестве келейника. И хорошо он отдыхал. В церковь не ходил. Гулял около дома, садился на пеньки, качался тихо на трапедии, добродушно со всеми разговаривал. Только перед отъездом мальчишки привезли его на лодке в Петропавловское село, в церковь. Приехал он поздно, одет был как простой священник. Оглядел всё и меня заметил. При выходе из церкви он остановил меня и как-то смущенно сказал: «Вот как вышло. Вы вот раньше меня пришли, а я только к поздней обедне, и то опоздал». Перед его отъездом я случайно с каким-то поручением приходила к хозяевам Якимовым. Епископ дал на память два серебряных нательных крестика для Валерии и Сони, а потом, словно спохватившись, дал и третий крестик – мне, говоря, что я тоже еще девочка.

Это лето 1904 года было очень дождливым. Где-то далеко от нас шла война с японцами. Вести о ней были плохие, и я замечала, что взрослые покачивали головой и задавались вопросом: «Что-то будет дальше?». Мальчишки называли трех щенков именами японских командиров: Оки, Ноги, Куроки. Приезжал дядя на два проведать нас Алексей Иванович и тоже говорил грустно и сдержанно о военных действиях, о ходе войны. И мы собрались уехать с дачи в город пораньше, числа третьего августа мы прибыли уже в Уржум.

[Смерть отца]

Когда мы приехали в город, я настолько была беззаботна, что не догадалась поискать отца, Дуню, их квартиру. Спокойно ждала от них самих вестей. Вдруг среди ясного дня 4 августа приходит заплаканная тетя Дуня и говорит мне: «Иди к отцу, простись с ним, он умирает». Я тотчас же побежала, напуганная неожиданной вестью. Отец лежал исхудавший, с воспаленными глазами, с трудом дышал. Увидев меня, сказал тихо, медленно, но отчетливо: «Дочка изменила мне». Так этот упрек был неожиданным для меня, я не могла сообразить, почему изменила, слова сказать не могла, а только

целовала его. А он дышал все тяжелее, прошло не более часа, как он испустил последнее дыхание.

С тяжелым недоуменным чувством возвращалась я в дом Капгер, теперь уже можно сказать – «домой», другого родного дома у меня не стало. Когда я вернулась, Алексей Иванович утешал меня и рассказал, не раздумываясь над тем, как это повлияет на меня, что о болезни отца он знал, заходил к нему городской врач Чемоданов, которого отец попросил прислать меня к нему, чтобы ухаживать за ним. Но врач предупредил, чтобы меня никаким образом не пускали к отцу, у него скоротечная чахотка, девочка может заразиться. «А ведь ты могла бы не послушаться и убежала бы к больному, поэтому мы решили скрыть от тебя и его болезнь, и его просьбу» – сказал мне Алексей Иванович.

А ведь я не знала этого, поэтому и не могла оправдаться перед отцом, вот что меня особенно тяготило. Алексей Иванович дал деньги на похороны, а меня отпустил только на кладбище, проводить отца.

Похоронили отца рядом с маминой могилкой, под большой березой с медным крестиком. Я долго боялась оставаться одна в комнате, боялась, что вот войдет отец, такой больной и страшный, и скажет: «Дочка изменила мне». Вскоре вернулась с Кавказа и Надежда Андреевна. Встретили мы ее торжественно еще во дворе. Вышла она из экипажа, со всеми поздоровалась, и особенно участливо со мной: «Я знаю о твоем горе и очень тебе сочувствую». И почти весело добавила: «Но с другой стороны я и рада: ты теперь будешь уже совсем наша». Теплому участия я не почувствовала, ничего не ответила, только повесила голову. И потребовалось еще много времени, пока не изгладилась в моей душе острота впечатления не столько от горя из-за смерти отца, а оттого, что я так и не рассказала ему, почему не пришла раньше. Забота и участие со стороны Надежды Андреевны, как мне казалось, были не обо мне, а о себе: закрепить для своей дочки девочку-подружку без каких-либо помех. И с тех пор я осталась у них надолго, сделавшись впоследствии значительным и нужным членом семьи. Правда, было раз и так. Почему, теперь уж и не вспомню, но я была очень недовольна Надеждой Андреевной: у нее иногда вырывались слова непродуманные и несоответствующие моменту. Но я тогда не хотела смириться и решила бежать от них подальше, в другой город. Задумала это с вечера, долго сидела и размышляла, как это сделать. Привела в порядок гимназическое платье, собрала какую-то мелочь, а денег в кармане ни гроша. Бежать решила в город Малмыж, уездный город, не менее чем в 100 верстах от Уржума. И пока длилась ночь, я злорадно думала, представляла себе, как утром все хватятся меня, а я буду уже далеко и неизвестно где. Но ближе к утру стала поостывать и соображать разумнее. Идти пешком, не зная дороги, в другой город, как я смогу одна, и к кому приду? Да и есть ли там гимназия? Не во всех уездных городах были гимназии. Так, из другого уездного города – Нолинска приезжали учиться в нашу уржумскую гимназию. Думала-думала, и к 9 часам утра пошла на уроки в свою гимназию. Как бы я не жила, у кого, с кем, но свою гимназию любила всегда. Она была моим вторым, а может быть и первым, самым важным домом.

Никто в доме об этом не знал, конечно. Я много болтала и была часто оживленной, но в свои раздумья не всегда посвящала других. Как-то Надежда Андреевна сказала обо мне: «Наша Маня простая, все расскажет, ничего не утаит». А присутствующая при этом наша близкая знакомая и друг нашего семейства, поглядев на меня, тихо произнесла: «Ну, нет, она, по-моему, не так проста, скорее скрытна». Хмурой и молчаливой я не была, часто вечером что-нибудь рассказывала в своем природном стиле, меня с удовольствием слушали. Рассказывала я однажды Алексею Ивановичу о нашем прошлогоднем путешествии в деревню с мальчиками: «И вот мы идем: Володя с ружьем, Коля с ружьем...». Варвара Андреевна останавливает меня: «Ну, разве так говорят, надо сказать: Володя и Коля с ружьями». Алексей Иванович сразу ее остановил: «Оставь, оставь ее, она так живо рассказывает». Как-то я рассказывала одной женщине содержание пьесы,

которую видела в театре, а она хотела пойти на этот спектакль. Она сказала: «После Вашего рассказа не надо и идти в театр, так Вы все подробно и живо рассказали».

В январе 1905 года мне исполнилось 15 лет. И я уже считалась членом семьи, самой хорошей подругой их дочери. И с этих пор началось воспитание меня по их понятиям, их обычаям, с их классово-точкой зрения. Тогда я еще мало понимала в этом, да и не задумывалась о том, что из меня выйдет.

[Культурные развлечения жителей Уржума в начале XX века]

Воспитателей было четверо, теперь мне больше приходилось иметь дело с Надеждой Андреевной. От природы она была добрая и много делала добра тем, кто около нее, но вспыльчивая, неровная характером, часто сердилась по пустякам, не всегда справедливо, но и скоро остывала. Большую часть времени она посвящала общественной деятельности, и в качестве председательницы общества вспомоществования бедным ученицам, и в качестве организатора спектаклей, концертов, и в роли артистки.

В спектаклях участвовали и преподаватели. Среди любителей-артистов, в соответствии с их личными качествами, создались уже определенные характерные типы – драматические, лирические, комические. И старались не просто «представлять», проигрывать роль, но и проникнуть в дух и идею героя (героини) пьесы. Я с удовольствием вспоминаю о том, как хорошо были поставлены пьесы Чехова, Островского. Ставили и водевили. К сожалению, около 1908 года от Министерства Народного Просвещения был получен циркуляр, чтобы преподаватели не выступали в любительских спектаклях. Это надолго лишило любителей-артистов культурного отдыха, а жителей города театральных зрелищ. Ведь тогда не было еще кино, и в наш маленький городок не заезжала ни одна труппа актеров. За все мое пребывание в Уржуме приехал раз летом цирк. Раскинул он большой круглый шатер на базарной площади с несколькими рядами скамеек и с крошечной эстрадой для музыкантов. Это было летом 1899 года. Музыканты, в количестве четырех человек, поселились в нашей семье, питались плохо, не лучше нас – чай и хлеб, весь день где-то пропадали и только к вечеру сходились вместе, шли в цирк на представление, а после ночевали у нас в сарае. Хорошо помню старого седого музыканта с молодой женой. Другой молодой музыкант больше сидел дома, чинил обувь за верстаком отца, пользуясь его инструментом и материалом. Отца же моего взяли в качестве барабанщика. Меня два раза водили в цирк, обещали посадить в первый ряд, но первый ряд скамеек оказался совершенно пустой, поэтому меня пересадили на второй ряд. Но мне что-то вспоминается, что и во втором ряду я сидела единственной зрительницей и мне было боязно торчать здесь одной: близко от меня происходили действия с огнем, борьба, всякие сальто-мортале. И в следующий раз меня посадили к музыкантам. Я встала коленями на стул, оперлась локтями на загородку и так уютно и безопасно чувствовала себя рядом с музыкантами, близко от отца.

Появлялись в городе иногда отдельные случайные служители искусства: рассказчик анекдотов, бегун на дальние дистанции (бега организовали на Сенной площади), ходок по канату. На последние зрелища народу собиралось много, плату собирали, обходя публику с шапкой исполнителя. Привезли один раз тюленя, лежал он, задыхаясь, в ванне. Его показывали за 5 копеек с человека. Однажды привезли панораму какого-то города или страны, нас она не заинтересовала: не разобрались даже хорошенько где это и что. Но в придачу предлагали посмотреть удивительную женщину в ящике. Усадили нас перед ящиком, очень небольшим, имевшим форму шестиугольника, прикрепленным на высокой деревянной подставке. Верхняя половина ящика снималась и нашему взору представилась половина женщины: голова, грудь до талии, а дальше уже дно ящика, некуда другой половине скрыться. Когда ящик открыли, она спала, потом медленно открыла глаза,

приветливо поздоровалась и вступила с нами в беседу. На ней была большая черная шляпа с пером, черное шелковое с кружевами платье, лицо очень красивое, с крупными чертами. Много вопросов задавали ей: как она там помещается, выходит ли из ящика и другие. Потом взрослые дома пытались нам рассказать, что это делается при помощи зеркал, но как именно? Этого они объяснить не могли...

Летом, на ярмарку, к нам приезжали балаганы, где артисты пели, ставили немудреные веселые сценки. В одном балагане двое певцов – он и она – пели: «Парижия, Парижия, там очень хорошо, и нам с тобой, Ванюха, побыть бы не грешно». В другом балагане пели длинную обличительную песню с припевом: «Ах, вы, жены, те же черти, каких не сыщешь и в аду». Танцевали модный тогда танец «канапу». На ярмарку один раз привезли целый зверинец. Устроили полотняный сарай, разделили на несколько отделений, в каждом стояло какое-либо дикое животное. Между прочим, зебра была. Но зверей мы смотрели мало, больше всего нас занимал их сторож, и где такого сторожа выкопал хозяин зверинца? Грязный он был чудовищно, с включенной бородой, с узенькими заплывшими глазами. Показывая зверей, называл их, а сам все время чесался. Мы сочли его тоже за зверя.

Вот каковы были зрелища для взрослых и детей, и какое огромное значение имели постановки наших любителей-артистов, людей образованных, культурных, отдававших им много своего свободного времени. А Надежда Андреевна, сама обладая некоторым сценическим даром, всей душой отдавалась этим постановкам. Помню, был поставлен в 1902 году спектакль и живые картины из сочинений Гоголя. Мы с Валерией смотрели этот утренник на генеральной репетиции.

Бывало, что Надежды Андреевны и целый день дома нет, но если она и дома, то к ней шли знакомые дамы, друзья за делом и советом, или просто посидеть и побеседовать. Как-то в день ее именин, все, знающие ее в городе, близкие и малознакомые, пришли к ней среди дня с коротким визитом поздравить. Наши преподаватели гимназии явились во время большой перемены. Всех она приветливо принимала, в столовой был накрыт стол, самовар кипящий не сходил со стола, из еды был только чай и домашние пироги.

Само празднично-торжественное собрание с друзьями предполагалось вечером, а Надежда Андреевна никого не хотела обидеть и пригласила на вечер всех, кто приходил с поздравлением: даже медицинскую сестру из городской амбулатории, никогда раньше не бывавшую у них. Алексей Иванович смеялся: «Неужели этого мастодонта пригласила на вечер?». По наружности эта сестра действительно была башня, но ее уважали и за работу, и как дочь бывшего мирового судьи. Народу вечером было множество. Как теперь я вспоминаю, особых приготовлений, угощений не было. Главным образом заняты были музыкой, пением, беседой. Легкая закуска, хлеб, булка, сыр, колбаса нескольких сортов, ягодное вино местного производства, 32 копейки бутылка. И ели все немного. Нельзя даже сравнить с аппетитом современных граждан, а ведь тогда не каждый жил сытно и обеспечено. У директора реального училища было девять человек детей, у председателя уездного съезда – 11 человек, а кроме жалования (так называли тогда зарплату) никаких посторонних доходов у них не было, и пирог со свежими грибами домашнего печения казался праздничным кушаньем. Был какой-то период, когда в семье Капгер по вечерам приглашались наиболее значительные лица в городе с их женами, довольно узкий круг служащих. Тогда уже специально готовился вкусный ужин. Подавалось то же ягодное вино, а на конце стола для мужчин очень небольшой графинчик водки. Нас, девочек, уже отправляли спать. Если ужинающих составлялось 13 человек, чего очень избегала Надежда Андреевна, верившая, что число 13 принесет несчастье, она посылала горничную за мной, чтобы я быстренько одевалась и выходила к ужину. Место мне оставалось, большею частью, на конце стола с мужчинами. Дамы садились поближе к хозяйке. И вот тут начиналось разыгрывание меня. Я хмуро смотрела на графин с водкой,

а они, один за другим, спрашивали у меня разрешения выпить одну маленькую рюмочку перед закуской, а если еще кто тянулся к графину, то другие тихонько предупреждали: «А как Маня, разрешит ли, надо ее спросить». И действительно, только один графинчик удовлетворял компанию в 6-7 человек. Дамы не пили водки. Сам хозяин не только водки, но и вина никогда не пил и не курил.... Пили и пьянствовали, конечно, и в нашем благословенном городишке, в городе существовало общество трезвости, но что оно делало, чем занималось, и как противодействовало пьянству - не знаю. Ни с одним членом не пришлось встретиться.

[О русско-японской войне]

Во вторую половину 1904 года дамы наши были очень заняты. У нас в городе зимой происходила мобилизация и отправка мобилизованных на войну. И кого забирали? Сорокалетних крестьян, отрывая их от семьи с 4-5 детьми. В нашем доме остановились два офицера, которые занимались мобилизацией, один был еще в возрасте около 27-28 лет, а другой буквально подросток, мальчик. По утрам его будили даже, а то опоздает в «присутствие». А наши дамы с ног сбились. Закупали фланель, из которой резали шарфы, собирали теплые вещи для солдат. Между прочим, набрали много носков шерстяных, но поношенных, с дырочками. Такие нельзя было дарить, так Надежда Андреевна поручила мне заштопать их. Я три дня не ходила в гимназию, не отвлекаясь ничем, заштопала больше полусотни пар. Шили белье для лазарета, для этого собирались в помещении Народного дома и шили все: рубашки, кальсоны, наволочки и прочее руками. Почему никто не принес швейную машинку – непонятно. Я шила наволочки, конечно, очень медленно шло дело.

[О Надежде Андреевне Капгер]

Мы в эту зиму 1904-1905 гг. оставались под присмотром учительницы, нанятой для подготовки Валерии французскому языку. Мы хорошо с Валерией изучили характер Надежды Андреевны. После обеда она часто ложилась отдохнуть, а когда вставала, то всегда бывала в дурном настроении. Ее раздражал всякий пустяк, и мы с Валерией уходили подальше от нее, чтобы не попадаться на глаза. Но только раздавался звонок, она оживлялась, весело встречала гостя или гостью, с нами была благодушна, ни за что не пробирала нас. Иногда она вспылит на меня, резко скажет что-нибудь, а я тотчас же взорвусь и отвечу дерзко. Она еще сердито поворчит, а потом всегда наша стычка кончалась так: «Не смотри на меня, не смотри, я боюсь твоих глаз!» Отвернется и затихнет. Раз я слышала, как она жаловалась на меня Алексею Ивановичу, а он ей сказал: «Ну что ты хочешь от нее, это же дитя природы, надо еще много времени, чтобы ее воспитать». Я никогда ни о чем не просила ее. Сделает она сама что-нибудь для меня – хорошо, не вспомнит – не огорчалась. Один раз она меня спросила: «Маня, а у тебя есть карманные деньги?» Что такое карманные деньги я читала в книгах, но у самой в кармане не было ни одной копейки, как и у Валерии. «Я буду давать тебе по одному рублю в месяц, но только ты не трать на что-нибудь дельное, а на то, что тебе захочется». Приходящие из деревни девушки, поступая служанками в дома городских жителей, получали 1 рубль в месяц за их работу. И она стала, действительно, давать мне такую сумму, а мне казалось дико тратить деньги на пустяки, и я на них покупала тетради, карандаши, мелочи в одежде, мыло, даже заказала чулки связать. К сожалению, она через некоторое время забыла давать, а я молчала. Скупа она не была, просто забыла. Настала зима, у Валерии есть коньки и обувь, а у меня только обувь. А коньки уже не подходящие, малы. Не хожу на каток и не напоминаю, что у меня нет коньков. Пришедшая гостья поинтересовалась, ходим ли мы на каток, а я ответила, что не хожу, нет коньков. Надежда

Андреевна, услышавши это, сразу всполохнулась: «Как, у тебя нет коньков? Пойди сейчас же купи!» Это было, помню, в воскресенье, но у нас лавки торговали и в воскресенье тогда. Рядом с нашим домом был большой магазин, где можно было купить и конфеты, и крупу, и даже мебель. Я сейчас же, захватив сапоги, понеслась в этот магазин, а старший приказчик вызвался сам прикрепить сапоги к конькам. Никогда Надежда Андреевна не лишала меня никакого культурного развлечения. Куда шла Валерия, туда и я: на спектакли, концерты, в гости. Когда я перешла в шестой класс, то Надежда Андреевна, отправляясь с Валерией в Казань сдавать экзамены экстерном, взяла и меня: «Маня еще не видела большого города, обязательно поедем». В Казани жители говорили больше на «а». У нас же в городе – на «о». Так вот, шли мы в Казани по переулку от Проломной улицы до Воскресенской. Там расположился торг семенами. Один мальчик, разговаривая с торговкой, спросил: «Каку ложку, чайну?» Я, услышав это, обернулась к своим спутницам и произнесла: «Ох, как здесь смешно говорят!»

Бывали у Надежды Андреевны свободные вечера, и она с нами читала, что-нибудь рассказывала из времен своей молодости. Мне запомнился ее рассказ о Софье Перовской, как она, дочь генерала, со всей силой души отдалась революционной деятельности, как бестрепетно участвовала в террористическом акте, как была казнена. Говорила тепло, с сочувствием, что было даже странно слышать от нее такое отношение к революционерке. Уж она-то со своим барством, думаю, революции не захотела бы.

Была она добра и с домработницами, никогда не перегружала их работой. В 1901 году взяла из деревни девушку в горничные, полюбила ее и потом всегда поддерживала. Когда Надежда Андреевна, бывало, сердилась, говорила резко и вспылчиво, Нила (ее имя Неонила) промолчит, и это молчание действовала на Надежду Андреевну примиряюще. Проработала Нила год. Вышла замуж. Надежда Андреевна сделала ей приданое, благословила и отпустила с мужем в деревню. Прошел еще год, у Нилы родилась девочка, а мужа взяли отбывать воинскую повинность, тогда был срок на четыре года. Надежда Андреевна эту девочку крестила и Нилу вместе с ней взяла опять к себе, теперь уже в качестве кухарки. Бегала потом эта девчушка по всем комнатам и наши прежние игрушки била и ломала. Петр, муж Нилы, был высокого роста, статный, широкий в плечах, его сразу отправили в Петербург в один из гвардейских полков. За какой-то проступок он был наказан и отчислен в дисциплинарный батальон в Кронштадт на четыре месяца (это сверх четырех годов службы). Все это время Нила жила у нас, подружилась с прачкой, стала по вечерам от скуки гулять с ней и неожиданно для всех родила девочку. Ей было так стыдно, так неловко, что не захотела оставить при себе этого младенца и отдала нянчить ее одной старухе в городе. Однажды старуха принесла бедную Зою к нам, и какой ужас мы увидели. Ей было месяцев пять, но это был несчастный хилый котенок, худенькая, вся в синяках и царапинах, глаза какие-то тусклые, глядели с невыразимым тупым терпеливым страданием, не пошевелится, не улыбнется. Всей семьей стали Нилу ругать за то, что бросила ребенка. И вот Нила жила у нас с двумя ребятами до приезда Петра. Петр любил Нилу. Когда вернулся, объяснились, оба были виноваты, опять стали жить дружно, и уехали потом в деревню к Петру.

Ходила к нам стирать все одна и та же женщина, высокая, плотная, еще довольно молодая, с крупными чертами лица, с большими глазами, которые ее красили, веселая, певунья. Когда она гладила в кухне белье, целый день пела, смеялась, и вот тут-то и подружилась с нашей скромной Нилой. У этой прачки я видела мать старушку и двух ее сыновей в возрасте 5-6 лет. Оба хорошо одетые, красивые, крепенькие, сытенькие; у одного темно-карие глаза, у другого темно-синие.

Кроме Нилы, в дальнейшем жили еще четыре кухарки-матери; у одной девочка училась в начальной школе, у двух других кухарок девочки учились в гимназии. У четвертой был маленький мальчик. Мало того, Надежда Андреевна покровительствовала

своей портнихе Тане, которая шила белье и платья на всю семью, у нее она крестила девочку. Назвала своим любимым именем Таней, и однажды, когда муж Тани сильно запил, Надежда Андреевна взяла обеих Татьян на все лето на дачу. Вот была картина, как мы стояли на берегу реки Вятки в ожидании парохода! Нила с двумя детьми, одна на руках, другая цепляется за юбку. Таня со своим младенцем, Валерия держала котенка на руках, а я собачонку. Этих последних мы пригрели на даче, жаль было их бросать на произвол судьбы. Единственная вещь, в чем мне отказывала Надежда Андреевна, это в одежде. Купит или отдаст шить все скромненькое; при этом она часто говорила, что в будущем я всегда буду бедная, придется одеваться скромно: «Вот Валерия будет ходить в цветных сапожках, а ты всегда в черных простых». И верно, она всегда покупала мне черные и не высокого качества. К счастью, я по натуре была равнодушна к нарядам и взрослая осталась такой же. И эти речи меня не трогали, зависти не вызывали, тем более, что многие наряды, платья Валерии совершенно ей не шли. Я позднее поняла, что у Надежды Андреевны не хватало достаточного вкуса. Когда я стала подрастать, отношения мои с Надеждой Андреевной становились лучше, внимательнее, даже сердечнее, а в дни ее тяжелого смертельного заболевания я очень ее жалела, плакала даже втихомолку, что мы не можем ей ничем помочь; умерла она в 1913 году.

Второй моей воспитательницей была Варвара Андреевна. Она, как педагог, чаще других замечала неправильности в моей речи, в поведении, старалась сделать из меня «барышню». Скажу что-нибудь не так, неправильно, она сразу остановит: «Ах, как ты сказала, разве так барышни говорят?». Повернусь не так, она опять: «Ах, как ты держишь себя? А разве барышни так делают?». Барышней того времени я, к счастью, не сделалась, но ей очень благодарна за ее замечания: я делалась мало-помалу культурнее, тактичнее, но своей живости и непосредственности не теряла. Если же у нас с ней и были какие-либо сшибки, то я на ее воркотню тоже не молчала, конечно, и не считала нужным подчиняться ей. Варвара Андреевна начала понемножку дружить со мной, хотя у нее иногда прорывалась ревность на то, что меня начали любить в семье. Поэтому самые простые мои слова, ответы, возражения и самые простые поступки мои она иногда окрашивала погуще, почернее, позначительнее, и в таком виде передавала Алексею Ивановичу, а не Надежде Андреевне, которая никогда жалоб не принимала. А Алексей Иванович, как человек со строгим выдержанным характером, спросит с меня пожестьче и посерьезнее. Не любила я эти нотации и объяснения с Алексеем Ивановичем. Он начинал всегда спокойно, ровным голосом, для пущей важности называл меня не Маней, а полным именем. «Вы, Мария Федоровна, думаете так-то». А оказывается, по его мнению, надо думать совсем иначе. Никогда не кричал, не бранился, учил меня сдержанности, самообладанию, выдержке, и в этом он определенно достиг успеха. Я это поняла, выдержке я научилась, и эта черта в дальнейшей моей жизни мне много помогла.

Однажды, я была уже лет шестнадцать, он начал со мною подобным образом разъяснять мои поступки. Ждал от меня объяснений, а я молчала, думала, может он поскорее закончит. Но он все настойчивее добивался от меня ответов и, наконец, буквально вспылив, сам забывая о выдержке, громко закричал: «Какое у этой девчонки адское самообладание!» Я в душе торжествовала: сам учил меня этому.

[Глава семьи – Алексей Иванович Капгер – управляющий удельным имением]

А был он характера ровного, как-то не заметно для других крепко держал установленный и соответственный его семье, его происхождению тон и быт. Не был чванлив, вежлив с теми, кто стоял ниже его рангом, и сам никогда не терял своего достоинства. Его отец был помещик, дворянин и крупный чиновник, родом из немцев. Все его три сына после его смерти продали имение, поделили деньги и каждый пошел по

жизненному пути, согласно своим талантам. Старший сын работал частным поверенным в Петербурге, вел дела честно и справедливо, имел много клиентов-доверителей, постепенно достиг достаточного благосостояния. Второй сын, Алексей Иванович, имел хозяйственную жилку, устроился управляющим имением в удельном ведомстве, а третий – я его видела лишь один раз в июньские дни 1917 г. – работал агрономом на Кавказе, на Теберде. Где учился Алексей Иванович, об этом я не знаю, но он был очень образован, много читал. Всегда у него под рукой книги, но не специальные научные, а исторические, и литература русская и иностранная в переводах; знал французский язык, очень выразительно читал нам стихи и прозу, увлекательно рассказывал. Понимал юмор, а на нас, домашних, частенько рисовал остроумные карикатуры. Варвара Андреевна выразила желание сшить вместо шубы ротонду. А она была очень полная. Появилась карикатура: нарисован колокол большой и рядом Варвара Андреевна в ротонде. Надпись: «Колокол с соборной колокольни, Варвара Андреевна в ротонде».

Не особенно страдая от нотаций Алексея Ивановича, я легко и быстро забывала жалобы Варвары Андреевны на меня. Частенько ей помогала что-нибудь зашить, заштопать, она и иголки в руках не умела держать. В общем, ладили и жили мирно. Я была ей очень благодарна за ее подарки мне. Я уже упоминала, что Надежда Андреевна часто забывала о мелких нуждах, а ведь мне были нужны книги, учебники, тетради, письменные принадлежности. Посмотрит на меня Надежда Андреевна: сыта, одета, обута, учится хорошо, забот никаких особенно не требует, а о мелочах забывает. Варвара Андреевна, как сама учительница, знала, что надо иметь ученице. К праздникам она мне дарила красивые тетради, пеналы с полным набором письменных принадлежностей, где были и ножичек и резиночка, а мне это было так дорого, что я забывала и ее жалобы на меня, и ее «ехидство». Она тоже часто проводила разницу между мной и Валерией, тоже говорила, что моя судьба будет всегда скромной, бедной, трудовой, и что бы у меня, смотря на Валерию, не являлось желания роскоши. Когда я была уже взрослая, как-то случайно я рассказала об этом Алексею Ивановичу. Как он был возмущен такими наставлениями, что это и не разумно, и не справедливо, ибо жизнь предсказать никогда нельзя.

Был еще такой случай. Кто-то, а так и не доискались кто, сделал пустячный росчерк пером на передвижном календаре на письменном столе у Алексея Ивановича. Все отказались, никто не сделал и ничего не видел. И всем советом решили, что это я (я тогда училась в первом классе). Никто-де не сделает такого росчерка, кроме меня. Пришлось молча подчиниться этому навету, хотя я и не была виновата. Позже я рассказала это Алексею Ивановичу со смехом, ибо такие раны долго не живут в душе, он искренне пожалел об этом и даже извинился передо мной. Каждый член семьи по своему характеру понемногу начали меня ценить, любить, сухости и грубости не было ни от кого.

Тут же приведу еще такой пустяк в нашем быту, который ставил Алексея Ивановича нередко в затруднение. Часто исчезали карандаши с его письменного стола. И тоже виновного никогда нельзя было найти. Тогда он приобрел карандаши со шнурком, намертво прикрепленным к тяжёлой подставке. С подставкой трудно было унести карандаш.

Квартира их в Уржуме была большая, девять комнат жилых, да еще были запасные помещения. У горничной дела много, и на такие пустяки, как стереть пыль со столов, у нее не хватало времени. Пыли набиралось в особенности много на письменных столах Алексея Ивановича и Надежды Андреевны. И вот, время от времени, Варвара Андреевна или я прибирали и чистили на письменном столе Алексея Ивановича. Не знаю, какую мзду получала Варвара Андреевна, а я бумагу чистую, большие листы и мелкие. А Надежда Андреевна даже не замечала, во что превращается ее письменный стол с полочками, с вышитыми салфеточками под чернильницей, безделушками. Тут

действовала только я. Да и стол в классной комнате прибирала тоже я. Очень большой, длинный, покрытый клеёнкой, он за одну неделю превращался в кучу самых немислимых предметов, книг и всякой всячины. Эту комнату, приблизительно метров 30, если не больше, любили все проходящие к нам знакомые. Кроме стульев там стояли хорошая кушетка, два уютных кресла, книг разных много, картины исторического содержания по стенам, и самые наши близкие знакомые и друзья больше проводили время в этой комнате, чем в гостиной.

Четвертым моим воспитателем была вторая сестра Надежды Андреевны – Софья Андреевна. Жила она в Петербурге. Очень любила своего мужа. Так любила, что лучше него никого нет на свете. Каждые рождественские и летние каникулы приезжала к нам. Дело в том, что сестры Надежды Андреевны, и ее младший брат, остались рано сиротами. Надежда Андреевна замещала им мать, была их поддержкой до их самостоятельного устройства. Она рассказывала, что училась в медицинском институте, а когда умерли родители, она оставила институт, вернулась в Воронеж, нашла работу и с большим трудом содержала их сначала одна, а потом с помощью Алексея Ивановича. Поэтому сестры Надежды Андреевны считали ее скорее матерью, чем сестрой, любили ее, ее дом был для них родным домом.

Софья была довольно капризная, да еще и очень избалованная и мужем, и обеспеченной жизнью. То ей слышится какой-то запах, то не может видеть селедки, не выносит сыра, то хочет необыкновенного яблочного пирога. А когда сделает чудо-пирог, очень маленький, который для ее семьи из двух человек вполне достаточен, а в нашей семье быстро исчезал, она, недовольная этим, начинала жаловаться, что она так устала, так ослабела и больше делать пирогов не будет. Она много шила себе нарядов.

Вот придет к нам, радостно и приветливо поздоровается, порасспросит всех, как живут, сама расскажет о себе, потом раскроет чемодан и начнет раскладывать свои наряды для обозрения. Мы, конечно, искренно полюбуемся, похвалим, а в разговоре вдруг ей что-нибудь не понравится, и она сразу потеряет веселое настроение, жалуется, что ее плохо приняли, обидели, заплачет. Ее успокоят, отвлекут, она перестанет плакать, и снова весела и довольна. Ей нравилось быть авторитетом во многих вопросах, хотя она не много вообще и знала. Окончила она гимназию с грехом пополам. На выпускном экзамене на вопрос, на какой реке стоит город Калькутта, она ответила: «На Свяиге». Она не была глупа или неспособна, а просто не интересовалась ни чтением, ни учением. Была хорошенькой, живой, кокетливой, и ей, гимназистке, больше нравилось, чтобы за ней ходили хвостом гимназисты и реалисты. В дни ее молодости Надежда Андреевна жила с ними еще в Воронеже. Мои резкие ответы Софье, а чаще всего, мое недостаточное признание ее авторитета в моих глазах, ее обижало, она начинала волноваться, возмущаться: «Ах, как ты со мной разговариваешь, я Наде расскажу!». Я этого не боялась. Надежда Андреевна сама лично не слышала моих речей, а жалобы Софьи ее мало трогали, так как она хорошо знала капризную натуру Софьи. Поэтому она только поглядит на меня, махнет рукой и успокоит Софью. Но такие случаи не мешали все же нашим хорошим отношениям. Я тоже ей частенько штопала дорогие ее чулки, охотно слушала ее наставления, и этим ее примеряла с моим характером. Она даже любила меня: всегда привезет подарок, как и всем. А самое главное, она не внушала мне, что я буду бедная, буду трудиться, и не будет у меня обеспеченной и свободной дороги. И кроме того привозила мне хорошие вещи из одежды, своей, и новой, в чем у меня был недостаток. Благодаря ей, у меня были современные костюмы: белый летний, шерстяной серый, который я долго носила, батистовые блузки, шерстяные юбки все из хорошего материала. Некоторые вещи я сама переделывала и очень удачно. Придет она, увидит на мне что-то знакомое и похвалит работу, а как шили ей петербургские портнихи, она никогда не была довольна. Однажды она привезла мне бархатную, свекольного цвета блузку, она мне очень шла. Когда я явилась в ней на вечер к трем именинницам гимназисткам,

организовавшим праздник в здании гимназии, то я, кажется, была наряднее всех. На ногах у меня аккуратненькие цветные туфельки под цвет блузки, не смотря на все предсказания о моей будущей скромной доле. И учитель рисования, он же певец, артист, декоратор и распорядитель танцев, поглядев на меня, сказал: «Вот и не именинница, а как одета».

Конечно, и Софья Андреевна со своей стороны старалась внести свою лепту в дело моего воспитания, часто делала замечания, иногда выговоры, но любила меня, часто о многом беседовала, а когда я окончила гимназию, то звала в Петербург, поступить в высшее учебное заведение и жить у нее. Ей дома было скучновато. Муж ее, профессор политехнического института, много работал и мало находился дома. Он был первый ученый специалист по турбинам, докторскую диссертацию ему пришлось защищать в Германии, кажется в Марбурге, так как у нас в России тогда не нашлось ему и оппонентов. Кроме хозяйства никаких занятий.

В 1901 году летом приезжал погостить брат Надежды Андреевны, тогда еще студент, очень либерально настроенный. Между ним и Алексеем Ивановичем часто возникали споры на политические темы. Алексей Иванович не одобрял его взглядов. Политические взгляды семьи, вернее, главы семьи, были очень умеренные, да и редко обсуждались. Алексей Иванович выписывал газету Суворина «Новое время», но многим был недоволен, часто вслух осуждал неудачные назначения в министерствах; не согласовался ни с какой партией, не выражал в беседах никаких крайних взглядов. Но студент скоро уехал, разговоры прекратились. Вновь разгорелись только в 1905 году....

[1905 год в Уржуме]

Еще задолго до объявления Конституции пошли в Уржуме разговоры, споры, обсуждения, в которых я ничего не понимала.

В нашей классной комнате повесили на стену огромный печатный лист со списком всех политических партий. Я долго его рассматривала, читала, и удивлялась тому, откуда это все взялось. В обществе Алексея Ивановича и Надежды Андреевны все знакомые были обыкновенные люди, а теперь, насколько улавливала я из разговоров около меня, оказалось, что, например, Образцов – «красный», а городской врач Чемоданов – «социалист-демократ». Мне же было только около 15 лет, жила в семье с твердо установившимися взглядами. Менять что-либо не думали и не желали. Мне запомнился один разговор Алексея Ивановича с каким-то мне незнакомым лицом (они встретились на улице) о крестьянах, их нуждах, их требованиях. Алексей Иванович очень нервно говорил, что лучше их не трогать, не вводить никаких реформ, а тот подкреплял свое мнение тем, что вот чехи очень удачно вводят реформы. На это Алексей Иванович ответил: «Так ведь то Чехия, она более культурная страна, а наше крестьянство еще неграмотно и невежественно».

Но вот объявили Конституцию. Что-то не радостно приняли ее в семье Капгер. Днем зашел к нам Иван Гурьяныч Соколов, чиновник из уездного съезда, который жил у Самарцевых, он женился к этому времени на родственнице Устиньи Степановны и у нее снимал квартиру. Он радостно поздравил с торжественным днем и приглашал прийти вечером этого дня в наш Народный дом на митинг. Он не был знаком с семьей, но приняли его хорошо, обещали, что непременно придут. И пошли, но скоро вернулись возмущенные. Чем? Оказывается, зал был украшен зеленью, флагами, большими красными полотнищами, на которых была надпись: «Да здравствует социал-демократическая республика!» Эта надпись превысила их терпение. Потом слышала я о том, что во главе организации митинга был наш городской врач Чемоданов, и к нему

обратились с вопросом: «Что это значит, как могли Вы допустить такие плакаты?» На это он будто бы ответил весьма уклончиво, что у него запотели очки, и он не мог ясно прочитать эти лозунги. Как закончился митинг – не знаю, но он оказался камнем, возмущившим нашу стоячую жизнь. События стали разворачиваться быстро, я могу лишь описать то, что делалось около меня, в гимназии, в нашей семье.

[Разумовский – секретарь земской управы, красноречивый оратор]

Вслед за митингом в Народном доме на следующее утро в нашу гимназию пришел секретарь земской управы Разумовский, человек образованный, культурный, хорошо известный в обществе нашего города. После окончания утренней молитвы в зале Разумовский выступил вперед и начал речь: «Знаете ли вы, что сейчас происходит у нас в России? Вы должны знать и решить, на какую сторону вам стать. Когда учат солдат, им говорят, что у Родины нашей есть враги внешние и внутренние. Внешние - это страны, которые воюют против нас, внутренние – те, кто хотят свергнуть царя и его правительство, создать жизнь по-новому. Так разве они враги?» Мы все молчали, даже из старших классов никто не подал реплики, да и что могли сразу ответить Мы, учащиеся, могли ли понять и осмыслить, что дает стране революция, кто стоит за нею. Только подумать, что русскую историю нам преподавали только до 1881 года, и преподавание это именно велось как история, а не жизнь нашего народа. Надо было выслушать учителей, но не рассуждать, не вникать, и чем ближе к нашим годам подступала история нашей страны, тем менее мы должны были разбираться в ней. Да разве кто-нибудь из наших педагогов мог бы преподавать историю народа, отступая от установленных программ и рекомендованных учебников. Разумовский еще долго продолжал такую митинговую речь, наша начальница благоразумно скрылась, классные дамы тоже как-то стушевались, и когда он кончил и ушел, мы, смятенные и взволнованные, не пошли по классам, и уроки не начались. Очутившись без руководства, мы двинулись по коридорам толпами, одни запели французскую «Марсельезу» (в переводе), другие - « Боже, царя храни».

Все группы оживились, смотрели друг на друга задорно, даже довольные такой свободой поведения, учебный день так и не организовался. Вдруг к нашей гимназии, к главному входу, который был не заперт, подошла большая группа манифестантов с красными флагами и стала звать гимназисток присоединиться к ним идти по городу.

***[Учитель Павел Николаевич Второв – организатор манифестации.
Черносотенцы]***

Во главе стоял учитель Второв. Я позднее узнала, что его считали передовым человеком, честным и искренним в своих революционных взглядах. Для девочек цель манифестации была совершенно непонятна, заранее никем не истолкована, вышло всего не более 5-6 бойких и любопытных девочек и одна классная дама - Александра Игнатьевна Родыгина. Но тут появилась наша начальница и решительно заперла дверь. Мы опять остались в гимназии без дела, без учения, ожидая, когда нас отпустят домой, а нас не выпускали из боязни, что на улице неспокойно. Пошли манифестанты по городу, по главной улице, как в конце ее навстречу им двинулась другая большая толпа мужчин, как оказалось черносотенцев, которая набросилась на манифестантов и начала их избивать. Большинство сразу разбежалось, нашей одной гимназистке разорвали рукав пальто, другие получили сильные ушибы, а бедного Ивана Гурьяныча Соколова так зверски избили, что его в бессознательном состоянии унесли домой на полovice. Долго он лежал, хворал, а его бедная жена, то плакала, то сама в горести падала в обморок.

[Владимир Сергеевич Депрейс – председатель земской управы]

...Подвергся гонению черносотенцев председатель земской управы Владимир Сергеевич Депрейс, его считали причастным к рассылке листовок. Черносотенцы толпой ввалились к нему в дом, первый раз он откупился деньгами на водку. Так прошло три дня, каждый день приходили, ищут его, грозятся, получают пятерки (а он прятался дома). Откупаться было больше нечем. И вот в сумерки к нам с черного входа в кухню вошел председатель земской управы Владимир Сергеевич Депрейс и попросил приютить его на несколько дней: «К вам не придут, т.к. у вас одни женщины». Сам Капгер был в командировке. Дня через два с большими предосторожностями пришла и его жена. Прожили они у нас дней пять, а вечером из их имения в пятнадцати верстах от города приехал их служащий, тоже незаметно вошел с кухни и увез их в деревню, в их дом. Черносотенцы еще долго волновали наше общество, все население. С этих пор у нас начались пожары, и все определенно говорили, что эти поджоги производили черносотенцы с целью грабежа. Но странно, что горели маленькие деревянные дома, бедные, где и грабить-то нечего, а не один дом богатых горожан не сгорел и не был ограблен.

Вскоре в наш город прибыла сотня казаков под начальством подьесаула и хорунжего. Первый был среднего возраста, солидный, серьезный и молчаливый, а второй – молодой, веселый, любил общество, попеть и потанцевать. Оба вскоре познакомились со многими менее представительными семьями в городе, принимали приглашения на вечера, ухаживали за дамами. Из числа этих семей одна дама, мать девочки, которая училась в одном классе со мной, красивая, моложавая еще, чрезвычайно влюбчивая, у которой и раньше были кратковременные романы, так влюбилась в подьесаула, что по уходе казачьей сотни из города, она бежала с ним. Подьесаул был женат, и их роман окончился скоро. Ей пришлось возвратиться домой, на этот раз ее муж был более тверд. Она ночью стучала ему в окно, чтобы ей открыли ворота, а он не хотел впускать ее в дом. Бедная девочка все слышала, жалела мать, просила за нее. Отец не был злым и сухарем, вернул опять жену, по-прежнему жили вместе, но что чувствовали друг к другу? Возможно, что оба страдали, а дочь еще больше. Мы, ее подружки, все это знали, но Юлю любили. Она была девочка очень скромная и добрая, и мы делали вид, что нам ничего неизвестно о происходящих событиях в ее семье. Скажу кстати и о дальнейшей ее судьбе. Ее отец был довольно обеспечен, сам не занимался ни торговлей, ни промышленностью, а жил на средства, нажитые его отцом, который не брезговал и ростовщичеством. Видела я его. Небольшого роста, сухонький, сутулый, одетый в коротенький старый, затасканный армячишко, подпоясанный веревочкой; в маленьком, низеньком, конусообразном колпачке, с палкою в руках. Ходил по двору, чем-то недовольный, и громко распекал домашних. К нему подошла девчушка, попросила у него молока, он так на нее закричал, что бедняжка сразу скрылась со двора. В это время я и другие девочки играли с Юлей во дворе. Скуп был, говорили про него, чудовищно. Умер он, когда Юля училась еще в гимназии. А Юля, хотя казалась нам неактивной, но дальше в жизни она проявила твердую силу духа. Казалось бы, ей не надо работать, а она отправилась в Казань, поступила на зубоврачебные курсы, окончила их и могла уже начать работать, но осталась пока в Казани, ожидая, когда окончит университет ее муж, тоже очень обеспеченный нажитым богатством своего отца-купца. В Казани я его видела один раз в 1913 году. Он не торопился учиться, больше проводил время за игрой в карты. У Юли был уже двухлетний сын. Вскоре она уехала в уездный (ныне районный) город Глазов, открыла там зубоврачебный кабинет, начала с успехом работать. Мне потом ее подруга, видевшая ее в то время, рассказывала, что пациенты были очень довольны ею. Красивая, скромная, участливая, она своим отношением к пациентам являлась более действующим лекарством, чем ее зубоврачебное искусство. Муж ее, легкомысленный бездельник, не сыскал уважения окружающих. Во время революции 1917 года он был расстрелян, кем и почему,

этого мне не удалось узнать. После революции отец Юли потерял свои доходные дома и приобретенные земли, поселился с семьей в скромном деревянном доме в нижнем конце главной улицы города Уржума. Младшая сестра Юли, которая обещала быть еще более красивой, чем Юля, была в детстве ужасно робкой и боязливой настолько, что даже нас, гимназисток, боялась. При нашем посещении она залезала под кровать и ни за что не хотела с нами разговаривать. А потом куда девалась ее робость? Она стала комсомолкой и деятельной партийной работницей. Юля поступила работать в городскую поликлинику в Свердловске, заслужила у всех уважение, оставалась на работе и после пенсионного срока; воспитала своего единственного сына, очень хорошего человека, общественного деятеля.

[Уржум в 1906 году]

Пришел 1906 год. Начались аресты, террор и казни, введен военно-полевой суд, которому были подсудны все, и гражданское население тоже. Все вести, отзвуки об этом, хотя и слабо, просачивались и к нам в гимназию; и у нас начались разговоры, обсуждения, споры, но все в рамках безобидных, да и наивных. Отчетливо выделилась группа учениц «передовых», как мы, неорганизованные, называли их. Мы пели хором много всяких песен вообще в гимназии. Постановление было такое, чтобы все ученицы всем классом без исключения занимались на уроках пения, а кроме того учитель пения выделил лучшие голоса, составил особый хор, который выступал и на наших гимназических концертах. Теперь к нашему репертуару прибавились революционные песни, и мы распевали их во время перемены в гимназии. Особенно я любила марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Наша начальница нас не останавливала, не запрещала их петь, она делала вид, что об этом ничего не знает, и не слышит. Она понимала, что наше пение никому вреда не принесет. Попоют, выразят свои чувства, и перестанут. Ей казалось, что лучше нас не останавливать, не фиксировать наше внимание на песнях. Помню, что только однажды начальница запретила петь любовную песенку. Сидели мы, группа учениц, в нашем классе после уроков уже. Кто читал, кто рукодельничал, а Саня Бердникова подошла к доске, взяла мелок, начала что-то рисовать. И попутно запела своим очень приятным, чистым голоском песню, которую в гимназии мы раньше не слышали, и не пели:

«...Виновата ли я, если голос дрожал, когда слушал он песню мою...

как склонилась к нему на плечо, поцелуй прозвучал горячо...».

В то мгновение по нашему классу проходила начальница. Услышав это из уст такой милой девочки, она подошла к ней и тихо сказала: «Не пойте эту песню в гимназии». И все. Ну а мы пели революционные песни с удовольствием, будто очень хорошее важное дело делали.

Однажды на священника собора отца Михаила, преподававшего у нас в гимназии «Историю церкви», поступил из епархии приказ: больше не служить церковных служб в соборе и немедленно выехать в Вятку на разъяснение. Виной тому – одна из его проповедей, о которой стало известно вышестоящему начальству. Часть гимназисток, под чьим-то влиянием, решила написать одобрение отцу Михаилу, так это и назвали – «Одобрение». Во время перемены, вынув чистый лист бумаги, они предложили всему классу подписаться под «одобрением». «А где же это одобрение, где оно написано?» – спросила я. Я сама одобряла отца Михаила, он был умный человек, как священник он не требовал от нас исполнения всех церковных обрядов, не возбуждал в нас религиозных настроений. Я бы и подписала одобрение, если бы оно было написано. Но когда мне дали чистый лист с обещанием, что текст будет написан после, я отказалась: «А что вы там напишите?» Вышел шум, спор, передовые гимназистки наступали на меня, а

нерешительные почувствовали даже облегчение: они боялись подписаться, и боялись отказаться. Кое-кто даже выскользнул на всякий случай из класса. Я не побоялась расхождения с передовыми, ни их отчуждения, ни их вражды. Я наотрез отказалась подписывать пустой лист, вся эта затея сорвалась. Да и какую она могла принести пользу отцу Михаилу, уже уехавшему в епархию. Однако за это мне был объявлен бойкот. Это было модно тогда. На деле это вышло так. Все передовые, большей частью сидели они на задних партах, во главе с Раей Опалевой, наиболее боевой из них, со мной не разговаривали, но остальным запретить не могли, ибо во все время учения я многим помогала по истории, по литературе, проверяла домашние задания, «сочинения», как мы их называли. Еще с четвертого класса, когда начали преподавать историю древних веков, я всегда перед уроком рассказывала им материал, заданный на дом. Иногда говорила: «Что повторять, ведь вы слышали рассказ учительницы, читали в книге?» А они мне отвечали: «Ты расскажешь – мы лучше поймем». Вероятно, это было потому, что рассказывала я своими простыми, не книжными словами и выражениями. Объявили бы мне всем классом бойкот и лишились бы, поневоле, моей помощи. Поэтому я нисколько не страдала, разговаривала с большей частью девочек и думала: «Придете ко мне, заговорите сами первые». Так оно и вышло. Прошло около трех недель, я, вбегая на перемене в класс, громко спросила, не обращаясь ни к кому лично: «А какое сегодня число?» С задней парты поднялась Рая Опалева и ответила на вопрос громко и охотно. С этого момента все бойкотировавшие заговорили со мной, а про пустой лист и не упоминали.

Надо сказать, что я в то время была в недоумении и не находила около себя честного искреннего руководителя, чтобы увлечь меня и приобщить к революционному движению. А характер-то у меня был боевой. Куда подевались ссыльные, находящиеся в Уржуме? Те, которых я лично встречала у Веры Юрьевны, уже давно уехали, отбыв срок ссылки, а других я не встречала. Семья Капгер не была на стороне революционного движения, придерживалась умеренных взглядов, не принимала партии кадетов, не было у них и знакомых ссыльных. Помню, еще до 1905 года, Алексей Иванович называл одного ссыльного, Влодека, порядочным человеком, они обменялись визитами, но знакомство не наладилось.

Семья Капгер хранила напряженное молчание. За мной пристально следил Алексей Иванович, о чем я узнала позднее. Иногда он беседовал со мной на разные темы, знал о бойкоте в гимназии, и даже боялся, зная мою натуру, что я примкну к какому-нибудь революционно настроенному руководителю. Он говорил Надежде Андреевне: «Ведь это такая натура, что не промолчит, а просто пальнет в кого чем-нибудь». Но я была на распутье и сомневаюсь, что была бы способна тогда поступить так, как Вера Засулич, которую я уважала за прямоту характера, за ее твердые убеждения.

Слышала я из разговора старших, что заведующий сельскохозяйственной фермой, таковая существовала тогда на окраине города рядом с кладбищем, был «красный», революционер. И в то же время его жестко осуждали за продажу крестьянам гнилых семян пшеницы для посева, конечно, по небрежности. Но образ его как руководителя в моем воображении потускнел и опал. Однажды на прогулке заведующая земским складом канцелярских принадлежностей рассказала мне читанный ею рассказ об отказе свидетеля в суде (или самого подсудимого революционера) дать клятву на Евангелии, мотивируя свой отказ тем, что такая клятва – злоупотребление учением Христа. А я, слушая ее, подумала: «А зачем революционеру нужна религия и Бог?».

[Священник Михаил Тихвинский – будущий депутат Первой Государственной Думы]

Доходили до нас слухи и о судьбе отца Михаила. Говорили, что в епархии не приняли каких-либо мер для его наказания, не могли понять и расценить его выступление в церкви. И отнеслись к нему как к человеку, сошедшему с ума. А дальше пошли слухи, что он был избран депутатом в Первую Государственную Думу. После ее разгона об отце Михаиле ничего не было известно до конца его жизни. Умер он скоро в тяжелой нужде и одиночестве.

И наше обучение с 5 класса (1904-1908) шло с перебоями, часто мы оказывались по тому или другому предмету без преподавателя на долгое время. В первых четырех младших классах (годы 1901-1904) мы были вполне обеспечены преподавательским составом, все преподаватели были женщины, местные жительницы, дорожащие работой. Надо отдать им должное, выполняли они свою работу с полной отдачей своих знаний, способностей и сил. И мне хочется сказать о них доброе слово.

[О преподавателях Уржумской женской гимназии]

По арифметике и начальному курсу геометрии занималась *Александра Андреевна Соломина*, средних лет, очень спокойная, выдержанная, внимательно приглядывавшаяся к ученицам. Прошли мы с ней по программе пропорции, правило цепное, правило товарищества, и задачи решали неплохо.

Наша учительница по русскому языку *Надежда Сергеевна Немирова*, характером была, правда, ужасна, но грамотно писать нас научила. Тоже пожилая, одинокая, нервная и раздражительная, она всякий урок начинала и заканчивала сердитым криком, несправедливыми упреками. Особенно меня возмущало ее обвинение нас в том, что мы кричим «как торговки на базаре, продающие селедку». Никакие торговки у нас на базаре не торговали селедками, да и кричала-то она, а не мы. Однажды, идя в наш класс, она еще из коридора закричала: «Опять кричите, слышу я тебя, Егошина, слышу твой голос!». А когда дежурная в числе отсутствующих учениц назвала Егошину, Надежда Сергеевна несколько не смутилась. Вот этот ее громкий и раздраженный голос вводил в заблуждение. У нее был свой метод занятий, эффективный в смысле ознакомления нас с правилами правописания без долбежки и письменных упражнений на каждое правило. В классе она объяснит новое правило, тут же заставит нескольких учениц его повторить, привести примеры. Урок шел живо. Часто мы писали в классе объяснительные диктовки, тексты брались из статей или литературного произведения. Она прочтет предложение, заставит повторить ученицу полностью, спросит, как пишется трудное слово, какие нужно поставить знаки, а уж после такого разъяснения мы должны были написать совершенно правильно....Отметок за объяснительный диктант не ставилось, другое дело – проверочный диктант. Он проводился два раза в учебную четверть, отметка за него считалась самой важной и показательной в достижении грамотности. Проводилось чтение из произведений Пушкина, Толстого, других писателей. Нужно было рассказать и пояснить главную мысль текста. Такой смысловой разбор подготавливал нас к пониманию литературных произведений наших писателей-классиков.

Мы много учили наизусть. Раза два в год задавала нам Надежда Сергеевна домашнее сочинение на литературную или вольную тему. И тут она строго взывала за ошибки, неправильные выражения, иногда очень даже едко.

Географию и русскую историю преподавала *Ольга Федоровна Перминова*, очень обстоятельная женщина, строгая, методичная. По истории она ограничивалась учебником, но рассказывала толково, часто просила повторить ее рассказ, и даже за это ставила

отметки. Это заставляло нас быть внимательнее в классе. По географии, не довольствуясь книгой, она знакомила нас с картой. Задаст вопрос ученице: «Как ты проедешь водой от Петербурга до Астрахани?». Вот тут изучишь и реки, и каналы. Мы такие уроки любили.

Закон Божий преподавали во всех семи классах гимназии, в 1-3 классах – Ветхий и Новый Завет, в четвертом классе изучали катехизис: в чем состоит наше христианское православное вероисповедание, всякое положение подтверждалось подлинным текстом из книг священного писания. Учили наизусть на церковно-славянском языке довольно длинные тексты. Какая это была мука. Мы тяготились этим занятием, не вызывающим искреннего религиозного чувства.

С первого по пятый класс Закон Божий преподавал *отец Ипполит [Мышкин]*, протоиерей, настоятель нашего собора. Был он уже очень стар, никуда не выходил церкви и гимназии, жил в своем собственном каменном доме, во втором этаже, с такой же старенькой сестрой. Ни ханжой, ни лицемером он не казался, не пускался ни в какие серьезные религиозные размышления, довольствовался тем, чему раньше сам учился или читал. Как-то он рассказывал нам в пятом классе о превосходстве нашей христианской религии перед языческой религией античных народов – греков и римлян. Выразился он так: «Ведь у нас один Бог, хотя и в трех лицах, а у них были боги, богини и божоночки» – и смеялся сам этому. Перед каждым днем его рождения старшеклассницы вышивали ему подарок: коврик, занавес для церкви, какое-либо покрывало. Вышивали очень красиво, оригинально, с листочками, вырезанными из березовой коры, в сочетании с металлическими звездочками, блестящей «канителью» и цветными нитями. Позже я узнала, что наша начальница сама за этим следила, дарила ему на день рождения от имени всей гимназии в надежде, что он, достаточно богатый, может оставить гимназии что-нибудь в наследство. Но, увы! Он умер, ничего гимназии не завещал. Зато всякий год, в день своего рождения, он посылал для всей гимназии угощение: конфеты, пряники, орехи. Обыкновенно мы строились парами, каждый класс отдельно шел в залу, а там уже на подносах и блюдах были разложены сладости. Мы подходили, поднимали переднички, и классные дамы насыпали нам туда по чашке орехов, одинаковое количество карамелек и пряников. Принимали мы это несколько насмешливо, но шли весело, называли эти подарки «ипполитками» и ели с удовольствием. Нас в гимназии было не менее трехсот учениц, так что это угощение надо считать с его стороны щедростью.

После него пришел законоучитель *отец Михаил Тихвинский*, назначенный также настоятелем собора. С ним мы, к сожалению, расстались скоро. Это был человек, видимо, достаточно образованный, вел уроки очень тактично, не настаивая на выражении религиозных чувств, относился терпимо и к небрежному отношению к урокам. Тем более, что в это время мы проходили «Историю церкви», и это была уже область истории, а не сама религия. Хотя нельзя сказать, что мы очень заинтересовались «вселенскими соборами» и их постановлениями, но отношения с отцом Михаилом были ровные и даже почтительные.

С первого до последнего класса у нас были уроки рукоделия, их преподавала штатная учительница *Капитолина Михайловна Матвеева*. Это было скромное, кроткое создание, с которым мы обращались даже вольно. Она научила нас вязать чулки, шить белье женское, детское, наконец, простенькое платье. Это считалось обязательным. И за это ставились отметки.

Преподаватели иностранных языков в Уржумской женской гимназии

Для содержания штатных преподавателей иностранных языков в гимназии не хватило денег, поэтому изучение языков шло частным путем и только для желающих. Одна дама, обрусевшая немка, жена провизора аптеки, взялась преподавать немецкий и французский языки за пять рублей в год с ученицы. Желающих было очень мало,

несколько девочек из купеческих и чиновничьих семей. Еще в первом классе, когда Вера Юрьевна узнала от меня, что за преподавание иностранного языка нужна особая плата, она дала мне пять рублей, я выбрала французский. Потом эта учительница объявила, что плата пять рублей будет за оба языка. Я, жадная, решила не упускать этого случая, уж если заплачено пять рублей, то надо учиться и немецкому языку. Это случилось в половине учебного года. Ученицы в группе уже читали, кое-что переводили, а я взялась самостоятельно их догнать, начиная с азбуки. Догнала, но сильно отставала от группы.

Мужа нашей немки перевели в Казань, и наши занятия прекратились надолго. Одну зиму взялась преподавать оба языка – французский и немецкий, дочь начальника нашего военного гарнизона полковника Галицкого, воспитанница Смольного монастыря, только что вернувшаяся в свою семью. Но не закончился и учебный год, как за ней приехал из Петербурга ее жених, они поженились и уехали. Наконец, для преподавания немецкого языка пригласили одну молодую девушку, обрусевшую прибалтийскую немку, окончившую среднее учебное заведение в одном из уездов Вятской губернии, которой было предложено дополнительное материальное обеспечение: быть домашней учительницей в семье Капгер, подготовить Валерию за третий и четвертый классы гимназии по всем предметам и немецкому языку. Получая в семье полное содержание: комнату, стол, уход и плату, сделавшись почти членом семьи, она могла вести постоянную непрекращающуюся работу со случайным заработком и в гимназии. Нас было в старшей группе человек семь-восемь из разных классов, а я еще и не платила ничего, плата пять рублей с человека в год не могла бы удержать крепко никакого преподавателя без других занятий. Она оставалась в Уржуме и далее 1915 года, и даже еще в революцию была там. *Примечание: Речь идет об Эльзе Густавовне Аунапу, позднее – преподавательнице иностранного языка в Уржумском реальном училище.*

Для преподавания французского языка из Казанского учебного округа прислали к нам старичка *Гольшуха*, может быть, и пенсию не получавшего, к которому мы, ввиду его старости, отнеслись сперва с почтением. Французский язык он знал великолепно, объявил занятия по латинскому языку. Небольшая группа составила охотно. Сначала все шло хорошо, но потом мы его невзлюбили за то, что он пытался вести себя очень любезным кавалером, рассматривал нас глазами старого сатира. Мы даже перестали выполнять его задания. То совсем книги не принесли, то у нас окажется всего одна книжка на всю компанию, то убежим с уроков, всяким способом пытались сорвать занятие. Я раз набезобразничала. Он плохо слышал, мы эти пользовались, конечно. Он вызвал меня рассказать наизусть заданные французские стихи о любви к Богу. Я сказала одну строфу в четыре строчки громко, отчетливо, правильно, он слушал, довольно покачивая головой. Затем, я тихо произнесла четыре строчки немецких стихов, и еще тише – строфу стихов Жуковского «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...». Он думал, что я все французские стихи говорю и с удивлением смотрел на остальных учениц, которые попадали от смеха на столы.

А еще однажды Римма (самая шаловливая и самая выдумщица), во время урока стала с передней парты постепенно переходить назад. В конце концов, с последней парты она упала на пол так, что когда мы, услышав грохот, обернулись, то увидели только пару торчащих из-под парты ног. И опять хохотали самым озорным смехом. На этот раз мимо класса проходила начальница. Услышав такой гомерический хохот, она вошла к нам. Римма живенько встала, даже не замеченная начальницей, а мы сразу подавили свое веселое настроение. А *Гольшух*, чтобы выправить положение, сделал самую деловую физиономию и вызвал меня рассказывать о третьем спряжении глаголов. Когда кончился урок, он постарался выйти из класса. Начальница нас спросила: в чем дело, почему мы так плохо занимаемся и плохо ведем себя, ведь *Гольшух* хорошо знает французский язык. Сама она тоже знала язык хорошо и могла судить. Мы постеснялись ей сообщить о причине, а после рассказали молоденькой учительнице немецкого языка, с которой у нас

были дружеские отношения. Она передала это начальнице, вскоре Гольшух был удален из гимназии. Он остался в Уржуме, и поселился с одной женщиной, которая приехала откуда-то и просила устроить ее в гимназию на должность учительницы танцев. Так как в гимназии совсем не оказалось какой-либо возможности организовать уроки танцев, устроить ее не могли. Мы все учились танцевать друг у друга. Женщина эта устроилась работать на сельскохозяйственную ферму, расположенную между городом и кладбищем. Я видела, как она продавала красную смородину на базаре. Что сделалось потом с Гольшухом, не знаю. В общем-то, он все же был несчастный, а мы в молодости часто бываем прямолинейны и нетерпеливы, и в результате жестоки.

Классные дамы Надежда Сергеевна и Наталья Сергеевна Смирновы

При таком преподавании языков мы, собственно, только научились чуть-чуть читать со словарем, не решались ни говорить, ни писать, разве только списывать. С нашим классом одно время занималась французским языком вновь поступившая классная дама Надежда Сергеевна Смирнова. Она была из семьи нашего городского наблюдателя нравов

Смирнова, только что окончила «Родионовский институт для благородных девиц» в Казани. Вернувшись в Уржум, постаралась занять место классной дамы, а французский язык взяла как дополнительное средство. Мы читали с ней произведения Расина, Корнеля, это было так скучно и далеко от нас. Даже заучивали наизусть целые монологи из драмы «Сид». Жизнь в нашем маленьком городке ее не устраивала, в общественной деятельности она не принимала никакого участия, но ей хотелось устроить свою жизнь посчастливее, обеспеченнее, выйти замуж за богатого. Такой богатый поклонник на ее горизонте и появился, стал часто ездить, ухаживать за нею. Но в последний момент, когда она ожидала от него решительного слова, он сделал предложение ее сестре Натальи Сергеевне. В нашем небольшом городке все происшествия семейного характера скоро делались известными во всех подробностях. Надежда Сергеевна скоро уехала из Уржума.

Ее сестра Наталья Сергеевна до замужества тоже работала классной дамой именно в нашем классе. Живая, веселая, всегда бодрая, с миловидным лицом и стройной фигурой она нам очень нравилась. Она с нами много занималась, читала, рассказывала что-либо интересное, учила нас вежливости, дружески останавливала в шалостях. Она обращала внимание на наши манеры, наши отношения друг с другом, со взрослыми.

С пятого класса нас считали уже взрослыми ученицами, отношение преподавателей было несколько иное. С нами разговаривали серьезнее, взыскивали строже, обращались к нам на «Вы». Классные дамы называли некоторых учениц иногда и уменьшительными именами. Но это объяснялось тем, что они стояли к нам ближе и были как бы воспитательницами, а не учительницами. Правда, бывало и так, что учительница (а это случалось большей частью с учительницами географии и русского языка) при каком-нибудь казусе вдруг забудет, что мы вышли уже из первых четырех классов, да и начнет выговаривать ученице с пристрастием, назовет и на «ты». Так, однажды, учительница географии заметила неправильное согласование в рассказе ученицы и начала ее поправлять: «Что же ты: ешь руками, ходишь ногами». Но это уж редко. Да и такие выговоры делались не со злом, скорее с сожалением. Вообще, в отношении преподавателей с нами было больше домашнего, чем официального. В особенности, если он оказывался хорошим, способным, видным, а, следовательно, и перспективным в карьере.

Учителем математики в старших классах был *Г. А. Мельников*, знающий свой предмет. Я ждала его со страхом, ибо много о нем слышала из рассказов классных дам, посещавших тогда наш дом. Это был нервный и нетерпеливый человек, неправильные

ответы учениц его раздражали. И он начинал попросту бранить бедную девочку: назовет ее глупой, и даже дурой. Вообще-то он был хороший человек: где надо, он думал о благе гимназии и о помощи отдельным ученицам. Но совладать со своей несдержанностью не мог. Классная дама рассказала о нем такой случай. Ученицы старшего класса терпели-терпели и пошли жаловаться на него всем классом начальнице. Начальница выслушала их и поговорила с учителем о том, что это обижает учениц. И он сам осознал некорректность своего поведения. Но что с ним поделаешь! Придя на другой день в класс на урок, он раскрыл классный журнал, никого еще не вызывая, мрачно посмотрел на всех и произнес: «Ну, мерзавки, пожаловались?». К сожалению, и он не засиделся в Уржуме, уехал в Казань. Мне не пришлось у него учиться.

Прошло много недель с начала учения, к нам прибыл *математик Николай Мстиславович Бутырский*, окончивший Петербургский университет. Это был человек не первой молодости, но он не ворчал пренебрежительно на наш маленький городок, принимал участие в общественных затеях, спектаклях, лотереях. К нам относился очень добродушно, как будто мы его дети. Один раз в присутствии учениц, в зале, он широко раскинул руки в обе стороны и сказал: «Какой я богатый! У меня 200 человек детей». А мы и довольны таким родством. Он и походил на папашу: высокий, плотный, с крупными чертами лица, с глубоко запавшими глазами, всегда серьезный и строгий. Наши шалости спокойно останавливал, никогда не создавал из них серьезной проблемы, не жаловался. Купили мы в складчину лаковые картинки, целый лист, состоящий из маленьких картинок, изображающих спелёнутых младенцев. Очень они нам понравились. Разрезали, разделили поровну, а штуки 2-3 оставались еще. Недолго думая, решили поделиться с Н. М., положили их в наш классный журнал математики. Придя на урок, он развернул журнал, увидел картинки, покачал головой и только сказал: «Ах, какие баловницы. Вот, ужо, скажу Марии Николаевне» (начальнице), но не сказал ей, картинки остались в журнале. На другой день мы одумались, пошли в учительскую, когда там никого не было, и убрали из журнала свой подарок. Занимался он спокойно, не выходя из себя при плохих ответах учениц, был терпелив. Но и тут неудача. Не успел человек прижиться в городе и крепко войти в коллектив преподавателей, как нашего Николая Мстиславовича мобилизовали (в это время продолжалась война с Японией), одели в прапорщицкий мундир и отправили в Люблин, где он простоял со своим полком до окончания войны. Оттуда он писал нам, что занимается арифметикой с солдатами, что к нам он вернется по окончании войны. Его письма, открытки и фотографии приходили в наш класс на мое имя. Перед отъездом он пришел к нам проститься, мы преподнесли ему небольшую серебряную чарочку. От имени всего класса я сказала речь, и когда говорила, по моему лицу текли слезы, а чарочка так и дрожала в моей руке. А ученицы седьмого класса, несмотря на его отеческое к ним отношение, по-настоящему влюбились в него так, что плакали. Поехали его провожать до первой станции, а уже была зимняя погода.

После него в пятом классе занималась с нами математикой Александра Андреевна. И в начале учебного года в шестом классе тоже не было преподавателя долго. В это время к жене судебного следователя приехал из Казани ее брат, студент математического факультета *Николай Николаевич Ивановский*. К нам его пригласили в качестве учителя математики. Приняли мы его что-то очень холодно, учились у него неважно, боялись того, что он останется у нас вместо Бутырского. Война заканчивалась. Когда Бутырский написал нам, ученицам, что он вернется в нашу гимназию, начальница Учебный округ, чтобы его к нам не посылали во избежание волнений среди учащихся. Мы были страшно возмущены! И чем мог Бутырский, такой положительный человек, вызвать какие-либо волнения у нас в гимназии. Я открыто выразила недовольство и в первый же раз, когда Николай Николаевич меня вызвал к доске что-то решать, молчала, потому что и урока не выучила, и вообще не хотела у него учиться. Он и принял это за саботаж с моей

стороны, как сам сказал при расставании с нами. Поставил двойку. Это была единственная двойка за все годы учения, сюда я прибавила и единицу по истории.

Думаю, что Ивановский уехал из Казани с целью скрыться от преследования. Возможно, что где-нибудь он выступал с революционными речами в 1905 году, а когда опасность миновала, он, не закончив учебного года с нами, отправился обратно. На эту мысль меня навела позднее случайная встреча с ним в Казани. В аптекарский магазин вошел небольшого роста мужчина, все лицо которого до самых глаз заросло черными густыми волосами, а на глаза надеты черные очки. Только голос мне показался знакомым (он говорил глухим голосом с придыханием). Я всмотрелась. По росту и небольшой сутулости определила, что это Н. Н. Ивановский. Маскировка была хоть куда. Мать родная не сразу узнает.

Таким образом, в пятом и шестом классах математика у нас была сорвана. Другие классы, конечно, также пострадали. Перешли в последний седьмой (выпускной) класс. И вот, наконец, из Казани, из университета, прибыл к нам «ученый математик», как он сам называл себя. *Случинов* – была его фамилия, а имя я уже и забыла. Любил говорить о себе. В первые же уроки, вместо занятия, рассказывал, какой он великий математик, университет его никуда не отпустит, он только временно позанимается с нами, а затем опять отправиться в университет. Каждый урок он не забывал об этом известить нас, и так сам себя выхвалял, что нам казалось это нетактичным и смешным.

Однажды устраивалась лотерея дамами-общественницами города, среди преподавателей, приглашенных для помощи, оказался и Случинов. На другой день во время урока он объявил нам, что он много помог, и если бы не он, так дело бы и не организовалось. А когда я сообщила об этом Надежде Андреевне, она со смехом сказала, что бестолковее его еще не видела, что он только «путался под ногами». Надо же было случиться тому, что прибывший в наш город губернатор из Вятки пришел в гимназию, вошел в наш класс и попал как раз на первый урок математики Случинова, который рассказывал вместо урока, какой он важный ученый. Губернатор смотрел на него с любопытством. Но, не смотря на некоторые странности характера, преподавал Случинов прекрасно: и алгебру, и геометрию, и физику. Он сам, видимо, любил эти науки и знал их отлично. Объяснял очень логично и интересно для нас. После объяснения нового материала тотчас же спрашивал наиболее толковых учениц повторить, с целью проверить, насколько понятно дошел до нас его рассказ. Учились бы мы у него подольше, математику бы в программе среднего учебного заведения знали хорошо, но уже весной после выпускных экзаменов он, действительно, уехал обратно в Казань.

По истории литературы дело шло не так плохо с самого пятого класса. Наш учитель *Зеленецкий* не блистал особыми выдающимися качествами преподавателя. Человек по характеру стеснительный, скромный, малообщительный, лет от 35 до 40, одинокий. Он не вступал с нами ни в какие беседы, кроме сугубо программных тем, преподавал сухо, даже как-то равнодушно, но порядок в преподавании ничем не нарушался. Начиная с пятого класса, мы все же сумели познакомиться вкратце, конечно, с историей русской литературы. Прошли устную народную поэзию, а письменную начали с поучения Владимира Мономаха и «Домостроя». Изучали Ломоносова, Державина, Карамзина, Фонвизина, штудировали классиков XIX века. Мало, конечно. Очень было важно для нас, для нашего развития, что наш сухой и педантичный учитель словесности, придерживающийся границ программы, постарался провести с нами несколько уроков по логике, познакомил с построением дедуктивных и индуктивных силлогизмов, с логическим построением литературных произведений. Это было важно для учащихся: понятие о логическом мышлении, даже в таком небольшом курсе, послужило нам как бы введением, ключом к пониманию литературных произведений. Как пример логического изложения мыслей мы изучали «Рассуждения» Карамзина о том, какой возраст человека

самый счастливый, самый удовлетворительный. Но и с этим преподавателем мы не дошли до окончания гимназии. Он где-то нашел лучшее место преподавания и оставил нас в середине 1906-1907 учебного года.

К счастью, уже недели через две-три приехал новый учитель, только что окончивший Духовную академию. *Яков Петрович Касаткин*.

Ему предстоял путь священника, епископа, но он, не дожидаясь духовного назначения, предпочел преподавательскую деятельность, жизнь светскую. Скоро он сделался кумиром не только среди нас, гимназисток, но и нашего уржумского общества. При привлекательной наружности, он обладал тонким музыкальным слухом, не сильным, но приятным, задушевым голосом (тенором), умно и тактично вел себя в обществе. С нами, гимназистками, он был строг, серьезен, не допускал никаких фамильярностей. Но по делу не отказывался побеседовать с учащимися. Преподавал живо, стараясь заинтересовать темой, вызвать желание подумать самим. Изучили с ним и Л. Н. Толстого, наконец. Под его влиянием у нас появилось желание расширить наши знания по истории литературы. Мы в складчину выписывали руководства профессоров Петербургского университета и Высших женских курсов: Овсяннико-Куликовского, Александрова и других. Месяца за два до экзаменов наш класс притих, посерьезнел, стали задумываться о том, как подготовиться к экзаменам. На выпускных экзаменах полагалось отвечать за все пройденное с пятого по седьмой класс. Ясно, что многое было забыто, пропущено, многое требовало объяснений. Ученицы послабее стали обращаться к нам с различными вопросами по пройденному материалу. Мы, три ученицы (Крутовская, Коршунова и я), организовали добровольную помощь отстающим. Разъяснять и рассказывать каждой ученице в отдельности оказалось огромной тратой времени. А потому мы попросили учениц объединиться в группы по каждому предмету: математике, истории, литературе. После уроков, отдохнув немного, мы вновь приходили в гимназию, где уже нас ждали три группы, иногда очень значительные. И чем моя группа была многочисленнее, тем больше я этим невольно и затаенно радовалась. Помогая так классу, мы и сами отлично подготовились. Правда уставали, но были молоды, сил было достаточно. У меня оказалось еще одно добавочное дело. Одна из учениц, живущая в общежитии, получила в последнюю четверть двойку по математике, к выпускному экзамену ее бы не допустили, она и взмолилась мне: «Помоги». Пришлось и ей отдать порядочно времени, дотянув ее до оценки четыре.

Надо заметить, что готовых экзаменационных программ, общих для всех средних учебных заведений, мы из Учебного округа не получали. По математике у нас даже совсем не было программ. По географии и истории составили сами учительницы, а что касается истории литературы, то тут к составлению программ наш учитель привлек весь класс. Он попросил нас после окончания уроков придти в три часа в гимназию для обсуждения программ. Все пришли, только я запоздала. Ученицы стали просить его начать обсуждение, но учитель им на это сказал, что еще нет меня, подождем. И действительно, ученицы в обсуждении программы оказались активны, высказывали свои мнения. А он слушал и вносил свои замечания. Таким образом, при живейшем обсуждении была записана первая редакция программы. После этого учитель поручил мне отредактировать ее поточнее, сверив каждый билет, чтобы они были равномерны по трудности вопросов. Я и боялась этой ответственности, и была горда. Все билеты проверила, много раз советовалась с учителем, как выразить точнее тот или иной вопрос, как объединить, или наоборот разъединить материал. Это давало мне повод с ним побеседовать лишний раз, чем я была очень довольна. Экзамен по истории литературы у меня лично прошел хорошо, и никто из класса не провалился. По математике я ответила тоже неплохо, но, кажется, получила только четыре, Случинов был недоволен мной. Хорошо сошел экзамен и по истории, тут надо было много повторить и запомнить, начиная с истории древних веков, средних веков, новой истории европейских стран, все

периоды русской истории. Сколько имен, дат и бесконечных войн! Я тогда изумлялась, что человечество все время воевало, дралось, мирилось и вновь воевало. В наших кратких учебниках было очень мало сведений по истории культуры человечества, поэтому так однобоко и выглядела жизнь народов, вся их история, главным образом, сводилась к войнам. Еще с изучения истории древних народов я уловила, что для войны существовали причины внутренние в жизни народа, и всегда появлялся повод для ее развязывания.

На экзамене по истории со мной был странный случай. Билет мне достался легкий: по истории древних веков – военные походы Александра Македонского, по западной истории – осада Вены турками, по русской истории – поход поляков в 1613 году на Москву и осада Троицко-Сергиевской лавры. Зная твердо весь этот материал, я начисто забыла собственные имена. В программе было написано имя Александра Македонского, только его имя и упоминала. Дария Кадомана называла просто персидским царем, предводителей польского войска под Лаврой – просто предводителями. Личность патриарха Гермогена была мне знакома с первого класса гимназии... Закончив рассказ, а меня не прерывали, других вопросов не задавали, я сейчас же убежала из зала и горестно переживала свой провал, укрывшись в самом темном углу коридора.

**[Круликовский – председатель родительского комитета,
ученый-энтомолог]**

Мое горе усугублялось еще и тем, что на экзамене был председатель родительского комитета Круликовский. Он окончил Московский университет и по специальности был энтомологом, но работал в городе каким-то чиновником, у нас в Уржуме и в окрестностях он изучал бабочек. Впоследствии свои собрания он представил в Зоологический музей в Петербурге. Увидела меня вышедшая из зала начальница: «Маня, как Вы хорошо ответили, все говорили, что Вам мало и пяти!». Я была удивлена таким подходом, но тут моей заслуги было мало: билет попал с вопросами простыми, с материалом всем известным. Это – во-первых. А во-вторых, рассказывать историю я приучилась за все четыре года. Но я совсем оскандалилась на экзамене по космографии (сейчас астрономия). Никто из специалистов нас не обучал. Слегка затронула эту тему в младших классах еще учительница географии, потом учительница по арифметике, которая, возможно, взялась временно преподавать этот предмет в силу экономических нужд. Но хотя я и слушала, но без интереса и дома ничего не читала. У нас на весь класс было 2-3 казенных учебника, приобрести книгу в популярном общедоступном изложении было трудно. Об экзамене по этому предмету не было и упоминания. И вдруг, когда уже начались экзамены, нам объявили, что будет экзамен по космографии. Думаю, что этого потребовал Случинов. Я, которая и книги в руках не держала раньше, спешно выпросила учебник сроком на одну ночь. Я добросовестно просидела ночь, прочла всю книжку, но в голове остался только хаос. Экзаменовал нас ученый математик Случинов. Ассистентами были начальница, учительница арифметики Александра Андреевна, и наша классная дама. Сидели они полукругом: посредине Случинов, по левую его руку начальница, еще подальше классная дама. Иду как на казнь... Билетов не было, значит, не было времени и сосредоточиться на вопросах. Задаст Случинов первый вопрос: «Скажите три закона Кеплера». Что-то об этом бродило у меня в голове, я нескладно и беспорядочно рассказала о первом законе. А дальше я буквально замерла, ничего не могу вспомнить. И вот тогда Александра Андреевна шепотом стала передавать классной даме вкратце ответ о втором и третьем законе, а классная дама начала тихо-тихо пересказывать мне. Я, чувствуя гибель свою, все ближе и ближе передвигалась к классной даме и медленно, слово в слово, произносила то, что успевала услышать. Скверно, но что-то получилось, ответ был. А на другие вопросы, более легкие, я ответила. Случинов был очень недоволен, а какая была экзаменационная отметка – не помню, наверное, тройка. За письменную работу по литературе я не

беспокоилась, тут всегда можно написать свое мнение. Распространиться о том, что лучше знаешь, умолчать о том, чего не знаешь вообще. Тема была взята из сочинений Тургенева. Написала много. Потом классная дама сказала, что все время следила за мной: у меня от волнения одна щека была красная, а другая была как мел.

Но вот кончились экзамены, мы вздохнули свободно. А у педагогов был бурный совет о том, кому назначить золотую медаль. Одни стояли за Крутовскую, другие – за Коршунову, третьи – за меня. К заключению пришли такому: каждая из них в своей области познания стоит золотой медали. А так как наша гимназия по бедности и по недостатку средств не могла купить даже и одну золотую медаль, то нам всем троим присудили право на золотую медаль. Мы были настолько несостоятельные, что не могли сами оплатить их и удовольствовались правом.

Когда учитель литературы узнал, что в дополнительном восьмом классе я возьму специальность «русский язык», он дал мне читать на лето серию журналов «Знание», дабы я познакомилась с новой литературой. Дал целую стопку. Как жадная до книг, я взяла охотно и принесла домой. И тут Алексей Иванович, увидев это издание, всполошился и буквально вознегодовал: как учитель мог дать молодой девушке читать такие произведения, отнял у меня все номера и пообещал, что некоторые более подходящие моему возрасту статьи он сам мне прочтет. Начал выбирать и читать по вечерам. К этим чтениям присоединилась и Варвара Андреевна. Познакомилась я, действительно, с целой плеядой современных тогда писателей: с Горьким, Серафимовичем, Чириковым, Гусевым-Оренбургским, Сергеевым-Ценским, Л. Андреевым. Но главного, гражданского значения их произведений я не уразумела тогда. Смотрела как на чисто литературно-художественные произведения, негодовала на тяжелый язык Сергеева-Ценского, на мистику Л. Андреева. Да и не увлеклась произведениями Горького, такими тогда нашумевшими как «Мальва» и «Челкаш». Только гораздо позже я оценила литературу журнала «Знание». И теперь нахожу, что оно имело огромное значение в том, что авторы своими произведениями расшатывали устоявшиеся традиции мещанства, вели к раскрепощению духа, к борьбе за свободу личности. В смысле общего развития и знания литературы это чтение мне дало много. Я нахожу, что учитель был прав, знакомя меня с этим изданием. По справедливости надо отдать должное и Алексею Ивановичу: он хорошо знал литературу не только русскую, но и иностранную, часто со мной беседовал по поводу того или иного произведения, расширял мой кругозор. Кроме уроков школьных это давало мне много сведений, я казалась значительно развитие других учениц. Учитель словесности относился ко мне более внимательно, охотно сам вступал в беседу со мной. И я, конечно, наравне с другими его поклонницами, была также влюблена в него и старалась учиться.

В это лето 1907 года наша семейная обстановка сложилась так: Надежда Андреевна стала опять себя плохо чувствовать и вместе с Валерией уехала на Кавказ лечиться. В городе остались Алексей Иванович, Варвара Андреевна и я. Дачу на Вятке решили совсем ликвидировать. С этой целью Варвара Андреевна вместе со мной отправилась туда забрать все оставленные там вещи: постельные принадлежности, посуду, разную мелочь, которую привозили из города всякое лето в великом множестве. Книги, которые оставались непрочитанные, одежду, которая лежала неиспользованной.

На этот раз мы пароходом доплыли до слободы Кукарки, а там остановились в знакомой семье, потом отправились на лошадях до дачи. Оказалось, что среди зимы на дачу пробрались какие-то бродяги, жили там, использовали постели и кровати. Много взяли из посуды – ножи, вилки, самовар медный. Он был новый, это единственное, что осталось мне в наследство от отца. Разбросали пустые бутылки из-под водки, окурки и грязь. Варвара Андреевна вознегодовала на смотрителя дач за то, что не уберег, и стала укладывать все подряд, чтобы ничего не осталось смотрителю. Собрали в ящики, в

корзины и опять отправились в Кукарку, где прожили несколько дней. С этой семьей мы четыре лета жили на даче, были в приятельских отношениях. И теперь, благо была очень хорошая погода, большой компанией совершали длинные прогулки. Багаж наш был сдан на пристань. Нам следовало, услышав свисток парохода, идущего вниз по реке, успеть прийти к его отходу на пристань. На третий день, после прогулки, отдыхая, слышим свисток. Варвара Андреевна заторопилась идти на пристань, но старший мальчик уверил ее, что это не пароходный свисток, или, во всяком случае, не с нашего парохода. Она поверила, и мы еще остались на одни сутки в Кукарке. Я с мальчиками успела покататься на лодке, и тогда они мне признались, что о вчерашнем свистке они наврали: свисток был с нашего парохода. А обманули они Варвару Андреевну затем, чтобы мы подольше погостили у них.

Я вспоминаю, что была я в те дни какая-то странная: грустная, задумчивая, подавленная, а зачем и почему – мне ясно не представлялось, не вспомню и теперь. Во время прогулок взрослые это обсуждали между собой. Мне говорили, что надо быть веселее и живее, как подобает молодости, а я была как бы связана своим невеселыми мыслями. Обратное плыли на пароходе долго, больше чем полутора суток, вместо десяти часов при полноводье. Познакомились с пассажирами. Никто не верил, что я окончила гимназию, так я выглядела девчонисто. Тем более не верили, что одна из пассажирок – гимназистка из другого города, перешедшая в шестой класс, была высокой, полной, малоподвижной и выглядела мамашей троих детей. И пассажиры, смеясь, говорили: «Она вот окончила гимназию, а Вы перешли только в шестой класс». Один из пассажиров, богатый человек из нашего города Уржума, очень авторитетного и властного вида, быстро познакомился с нами, старался нас застать в салоне или на палубе, много разговаривал с Варварой Андреевной. Мне он показался несимпатичным. И я не верила в его добрые качества, так как его жена не произнесла абсолютно ни одного слова, вид имела деревенской жительницы. Даже одета она была худо, выглядела как забитая. Он не обращал на нее никакого внимания, как-то жаль было смотреть на нее. На меня он тоже не обращал никакого внимания, как и я на него. Но когда я через год окончила восьмой (дополнительный) класс с педагогическим уклоном, он предложил мне быть домашней учительницей его племянника. Детей у него не было. В качестве наследника он вывез из деревни небольшого мальчика-племянника и хотел дать ему хорошее воспитание и образование. Но я, решив поступить учительницей в деревенскую школу, отказалась от его предложения, чем заслужила от него негодование на меня: «А что же ей еще надо? Получила бы хорошую плату!». Так выразился он нашему посреднику. А я, вспоминая его молчаливую жену на пароходе, и думать даже не могла очутиться в его семье. Скажу тут, кстати, что в моей биографии мне везло с разными предложениями от наших купцов в городе. Первое предложение я получила от видного купца Степанова. У него был большой магазин тканей, галантереи, мягкой мебели. Два крыльца с железными решетками вели в просторное помещение в нижнем этаже большого каменного дома на главной улице.

В каком классе я была, не помню, в гимназии тогда организовали родительский комитет и на первом же собрании возник вопрос, кто же будет в нем участвовать в качестве ответственного родителя за меня. Так как я не была официального удочерена Капгер и продолжала учиться за казенный счет, то председатель родительского комитета предложил лишить семью Капгер права голоса в родительском комитете. И в это время Степанов прислал мне лично письмо с предложением быть его приемной дочерью. «Тогда бы уже» – говорил он на родительском собрании – «я бы и платил за ученье». Как все заволновались у Капгер, что я отвечу. Но я долго не думала, сказала, что не пойду к Степанову. Тогда Алексей Иванович продиктовал мне вежливое деловое письмо с отказом.

Второе предложение мне было от сына одного мелкого промышленника (у отца его был кожевенный завод) быть его женой, это в семнадцать-то лет! Встретил меня у моей школьной подружки и, не сомневаясь в моей согласии, заявил ей, что обязательно женится на мне. Сватовство это шло чин чином... Кончила я выпускные экзамены, мне 17 лет, он через эту школьницу просит передать, что уже хватит учиться – пора и жениться. А я так же через нее ответила, что буду еще учиться, и вообще замуж еще не пойду. У меня не было абсолютно никакого чувства, ни к нему, ни к его семье, я боялась мещанского уклада жизни, который с детства мне был чужд и далек, в ответ я только смеялась. А он надеялся, купил молодую лошадку, красивый экипаж: «Чтобы кататься нам пока». И Варвара Андреевна, и Валерия как-то и покатались, а я не хотела и посмотреть. Валерия была в его семье в день рождения младшей сестры его, которая училась с Валерией в одном классе, и со смехом сообщила мне, что на стенах в комнате Сергея Петровича прикреплены страницы из моих учебных тетрадок, между ними переводы с французского языка. Этим его снабжала моя подружка.

Окончила я дополнительный класс, надо было серьезно ответить ему: да или нет. Но как сказать «нет» – не соображала. Встретились в нашем Народном доме на спектакле, куда мы, группа девушек, с легким и радостным чувством свободы забежали после прогулки. Там и объяснились...

[О сельских земских школах Уржумского уезда]

Школ в деревнях было немного, ребята ходили и за пять верст в школу, ежедневно, и во всякую погоду, осенью, и зимой в морозы. Постановлено было каждый год строить по 10 новых школ. Преподавателей требовалось много, и, действительно, почти весь наш класс, даже самые плохие ученицы пошли на эту работу. И замечательно, что те, кто не блистал успехами в гимназии, оказались наиболее полезными и преданными своему делу.

Наш преподавательский состав в гимназии пошел также навстречу требованиям жизни: добавили еще восьмой дополнительный класс исключительно с целью подготовки учителей. Всем классом мы проходили общую подготовку к педагогической работе: читали историю педагогики, общую дидактику, методики преподавания, дежурили по неделям в начальной школе, слушали уроки учительницы, писали свои замечания, отдавали в этом отчет. Наконец, сами давали пробный урок по арифметике и русскому языку, на котором присутствовали педагоги и давали о нем отзыв. В то время прибавилась в городе еще школа грамотности для девочек, ее и предназначили для практических занятий и назвали «Образцовой школой». Во всех трех отделениях этой школы преподавала одна учительница (Варвара Андреевна). И все три отделения сидели в одном зале: один ряд парт – первое отделение, второй ряд – второе отделение, третий ряд – третье отделение. В то время, когда учительница занималась с одним отделением, проходя новый материал, другие два занимались самостоятельной работой по пройденному уроку.

Кроме общей подготовки мы должны были увеличить наше образование в той или иной области: в математике, географии и истории, литературе, разбившись на специальные группы, которые проходили избранную специальность сверх обычной программы среднего учебного заведения. И здесь мы должны были дежурить в гимназии в первых четырех классах: слушать уроки преподавателей, отдавать отчет об этом, наконец, давать и самим пробный урок в присутствии не только своего преподавателя, но и других, и начальницы. Нам было объявлено неписаное правило, что такая подготовка даст право поступить учительницей по своему предмету в первые четыре класса гимназии. В нашей гимназии в четырех первых классах весь штат преподавателей был заполнен, нам не представилось возможности попытаться поступить в гимназию преподавательницами,

зато для нас существовало огромное поле деятельности в *народных начальных школах* сельской местности.

Я, жадная, выбрала две специальности: математику и литературу с русским языком. Я уже упоминала, как неудачно у нас сложилась учеба по математике, кроме 7 класса. После Случинова пригласили учителем (по чьей инициативе – не знаю) приехавшего к нам в Уржум бывшего работника в Земстве, по счетной части, в нашем городе его никто не знал. Верно, жизнь его семейная не ладилась. Жена его довольно молодая, беспечно разгуливала по улицам, одетая в нарядное черное платье, в большую черную шляпу с перьями, лентами и цветами, кокетливо улыбаясь. Ни в какое общество она не вошла. Видимо, изводила мужа. Он всегда был задумчив, грустен, и такой расстроенный приходил к нам в класс в состоянии полузабытья. Но самое плохое – он не знал математики. Задаст ученице задачу по геометрии или алгебре, она не может решить, возьмется он сам и тоже запутается и не решит. Так и останется на доске нерешенная задача, ученица смущена, мы, остальные, никаких знаний не приобрели, и он задумчиво отойдет от доски и все. И по математике экзамены за 8-й класс мы держали позорно плохо.

[Инженер-архитектор Уржумского земства Иван Антонович Леман]

Накануне экзамена я сидела дома, подавленная, с разложенными на столе учебниками, я боялась экзамена. Пришел к нам хороший знакомый, архитектор в земстве, поляк по происхождению, Иван Антоныч Леман, с которым я часто танцевала, спросил меня, в чем дело, что это я такая грустная. Я ему сказала, что ничего не понимаю в математике, а он предложил мне позаниматься со мной. «Так, ведь экзамен-то завтра» – жаловалась я. Жаль, что я раньше не додумалась до этого: он действительно охотно помог бы мне лучше, чем наш неудачный учитель.

К моему пущему затруднению экзаменовать по геометрии пришел директор реального училища, сам по специальности математик; мне он задал вопрос совершенно пустячный, что-то о треугольниках, самостоятельно сделать вывод, но мы не привыкли думать самостоятельно по математике и соображать, как применять заученные нами аксиомы и теоремы, не умели сами самостоятельно делать расчеты. Я молча стояла у доски, как приговоренная, а экзаменатор сам растолковал мне заданный вопрос. Я с горя сразу убежала домой, а пришедшая вслед за мной подруга сообщила мне: «Тебе поставили пять». Не поверила своим ушам, а когда уразумела, то не была довольна: здесь директор, умный и интеллектуальный человек, поддался мысли, что может плохой отметкой мне расстроить свои хорошие отношения с семьей Капгер. Он иногда от нужды занимал у них деньги, об это не рассказывали вслух у нас, я узнала гораздо позднее. Не велика была его зарплата, а семья: он, жена и 9 человек детей.

С литературой и русским языком я справилась, много читала руководств, какие могла достать, готовилась быть учительницей, но математику дальше постигнуть не удалось. Первый экзамен назначен был по литературе письменной. Я настолько была уверена, что смогу справиться с заданной темой, что накануне дня экзамена не стала ничего повторять. Вечером я пошла вместе с нашими к знакомым, любителям музыки. Туда же, несколько позднее, пришел и учитель словесности: «Как! Вы здесь? Да ведь завтра экзамен! Идите, идите домой! Повторяйте! Я Вас провожу». И проводил до самого дома, удивляясь моему хладнокровию.

Тема была легкая: «Отцы и дети по комедии Грибоедова «Горе от ума». В конце я даже написала, что всегда будет разница между поколениями, ибо жизнь движется и развивается, и следующее поколение приобретает что-нибудь новое.

**[Назначение на должность помощницы учительницы в школу деревни Русское
Тимкино. Жизнь и быт деревенских жителей]**

По окончании гимназии я получила назначение на должность помощницы учительницы в деревню Тимкино, в 7 верстах расстояния от города. Школа помещалась в наемном деревенском доме во втором этаже, нижний этаж, почти полуподвальный, занимали сами хозяева. В школе кроме двух классовых комнат была лишь одна комната для жилья старшей учительницы, поэтому я поселилась в доме местного крестьянина, почти рядом со школой. Маленькая комнатка, но с отдельным входом из сеней, с русской печью, с отоплением, уборкой, приготовлением пищи за 4 рубля в месяц. Это при условии, что я получала «жалование», как тогда называли зарплату, 14 р. 10 коп. в месяц. Семья моих хозяев состояла из его жены, довольно властной старушки, двух сыновей – старшего женатого и трех детей малолетних, и младшего, тоже уже в годах, небольшого роста, горбатого, очень раздражительного и злого. 8 человек жили в небольшой избе, где огромная русская печь занимала четверть помещения; как они все устраивались на ночь, трудно представить, только одна кровать стояла в углу, влево от входа. Топили каждый день, тепло берегли, не проветривали, только часто открываемая входная дверь время от времени пропускала свежую струю воздуха. Тараканов была тьма-тьмуца. Эти мирские захребетники, днем хоронились в пазах бревен, во всех щелях, а как наступал вечер, выползали отрядами, один за другим покрывали потолок, верхнюю часть стен, где потеплее. Страшно было смотреть, а живущие никто не обращал на них никакого внимания. Полевые работы были уже закончены, занимались хозяйственными делами при доме.

Моя учительница давала мне советы в налаживании быта и, между прочим, предложила мне для экономии ездить в город вместе с нею. Ее сосед, очень пожилой крестьянин Николай Романов, брал в один конец 20 копеек. Он всегда довольно усмехался при замечании, что он тезка по имени с царем. Вдвоем такая поездка, вперед и обратно, обошлась бы в 20 копеек каждой, вместо 40. Я согласилась, и когда мы с ней совершила первую поездку, мой хозяин взбунтовался: «Вы живете у меня, Вы должны и брать мою лошадь, а то доход с вас получает Романов». Горбун, его брат, буквально бесновался, кричал на меня резко, грубо. Я пошла к учительнице, сообщила ей об этом, и мы с нею, и с Николаем Романовым договорились так: вперед в город везет Романов, обратно оттуда мой хозяин. К нашему удовлетворению мой хозяин согласился.

Пишу потому о таких пустяках, что меня поражала бедность, нужда, и неблагоустроенность жизни, грязь и темнота. Вся деревня исключительно существовала продуктами от своего надела земли, никакого кустарного ремесла не развили, что могло служить подспорьем, а при хорошем мастере дать достаточно значительный доход. Беседы вела я с хозяином и Николаем Романовым. Каждый из них вводил меня в курс их жизни и нужд. Платить подати им было нелегко. Николай Романов, имея один надел, платил 12 рублей в год, другие еще больше, а откуда взять им такие деньги. Урожай низкие, если приходилось что продавать, то в ущерб собственному питанию. Молодая хозяйка покупала мне в деревне картофель, репу, редко капусту. Молоко во многих семьях исчезло: коровы, плохо кормленные, начали то в одном, то в другом хозяйстве переставать давать молоко. Обойдет хозяйка несколько дворов, пока достанет бутылку молока (литровую). Летом в нашем городе на базаре четверть деревенского молока продавалась от 9 до 10 копеек (зимой доходила до 13 копеек), а в Тимкине с меня брали такую плату за одну бутылку, и то спасибо...

Жили бедно, скудно, грязно, и никакого культурного развлечения. Даже годовые церковные праздники проводили скучно: выпьют водки, поедят посытнее, подольше поспят (церкви или часовни в их деревне не было), потом опять работа, недостатки, нытье, бесполезные жалобы.

Как-то одна из учениц сказала мне в пятницу после уроков, что на завтра, в субботу, она не придет в школу. А на вопрос «почему?» она ответила, что пойдет «побираться», то есть нищенствовать, собирать кусочки хлеба. Спросила я своего хозяина, почему такая бедность в семье этой девочки, он просто заявил, что ее отец больше на печке лежит, чем работает. Может быть и так, но еще и пьянство являлось причиной бедности. Крестьянин, у которого было снято помещение под школу, пил редко и умеренно, получал плату за школьное помещение, имел пчельник, и при небольшой семье (он и три женщины) жил хорошо, работал с прохладцей, отдыхал, и довольный пил чай с медом. Это был, кажется, единственный человек в Тимкине, считающий себя вполне обеспеченным, и на нас, учительниц, он смотрел с некоторым пренебрежением и сожалением. Старик Романов жил со своей старенькой, но еще крепкой и аккуратненькой женой, он не пьянствовал совсем, вовремя справлялся с полевыми работами, с нас зарабатывал до 80 коп. в месяц, на свою жизнь не жаловался, ему было достаточно полученного урожая. Во время поездки он сообщил нам, что этим летом собранный урожай он не трогал, да еще стоит скирда от прошлогоднего урожая. По разделу общинной земли он получал надел на одну мужскую «душу», а едоков было всего он и жена (дочери давно вышли замуж). Мой хозяин получал на 4 «души», это еще неплохо, а в других семьях женщин больше, чем мужчин, вот уже и получают нехватки.

В окрестностях города Уржума почва была плохая, известковая, тощая; во время засухи она так затвердеет, что по всей поверхности пойдут трещины. Чтобы она дала приличный урожай, требовалось ее удобрять; удобрение знали одно – навоз, а при наличии в хозяйстве одной лошади, одной коровы и навоза полностью не хватало. Мы в школе и в гимназии часто решали такие задачки об урожае, где говорилось, что получали с посева сам-девять, сам-десять, то есть, пуд посеешь семян, соберешь 9 пудов зерна, и это считалось удачным урожаем.

Передел земли производили через три года, и часто только что ухоженные тяжелым трудом старательного хозяина полосы при новом разделе отходили к другому хозяину, а вместо них доставались запущенные, плохо удобренные. К этому надо прибавить еще зло – *черезполосицу*: вся общинная земля делилась по характеру почвы на плодородную, тощую, непригодную к пашне, и каждая семья получала в счет своего надела полоски в разных местах. Обработка отнимала и лишние силы, и время, и препятствовала правильному использованию земли. И много еще всего рассказывали они о своих затруднениях и нуждах, но как исправить, как выйти из нужды и бедности, никто не сообщал.

Это была зима 1908-1909 годов, крестьяне, по крайней мере, около нас и в Тимкине, были очень злы. Моя молодая хозяйка меня прямо терроризировала, рассказывая, как бранят учительниц, не нас только лично, а вообще всех учительниц из школы. Рассуждают так: для чего школы, зачем в деревне грамота? Только разве подписать деловую бумагу, так можно и неграмотному поставить крест вместо подписи, и все. Учительниц называли дармоедками, бесполезными, получающими совсем зря большие деньги. Такого же мнения придерживались и крестьяне вслед за бабами. Наслушаюсь этих речей и боюсь ходить по деревне. Только гуляла с ребятами. Они были добродушны, искренни, охотно рассказывали о себе, скоро почувствовали ко мне доверие, даже привязанность. В сельских школах работали обычно две учительницы: одна уже со значительным стажем занималась с двумя отделениями, заведовала школой. Она получала 25 рублей в месяц и комнату при школе. Другая, помощница, занималась с одним отделением и получала 15 рублей за вычетом налога 90 копеек, итого 14 р. 10 коп. Но меня это не смущало, думала, что справлюсь, да и не задавалась я какими-нибудь высокими идеями, «нести просвещение в темную массу», «отдать жизнь народу». И я, и мои подруги, окончившие гимназию, смотрели только на близкую цель: учить детей. И сколько же было учительниц добрых, душевных, которые скромно и добросовестно

выполняли свой долг, существуя с семьей на такие небольшие средства. Я скоро познакомилась с такой пожилой учительницей в селе Козьмодемьянское.

Однажды старшая учительница сказала мне, что в случае отсутствия помещения в школе, земство должно выдавать квартирные деньги. Это правило обязательно. Я и пошла в земскую праву. Казначеем был очень старый уже человек, работающий много лет в нашем земском управлении; он берег каждую копейку и буквально трясся, когда приходилось выдавать ему деньги. Он часто на проходящих просителей кричал, об этом в земской управе помалкивали, жалея старика. Подошла я к окошечку, за которым он сидел, как в клетке, изложила свою просьбу тихо и вежливо. А он, сообразив, что я посягаю на какую-то сумму, сразу закричал: «Нет никаких денег!», я повернулась и пошла ни с чем. Дома никому ничего не рассказывала. Даже Алексею Ивановичу, члену земского собрания и председателю ревизионной комиссии земства, я не говорила, что пойду просить квартирные деньги. Пришла домой и решила, что обойдусь и без квартирных. Часа через два приходит земский архитектор И. И. Леман и говорит мне, что деньги выписаны. Оказывается, он там находился где-то по соседству, слышал мою просьбу и крик казначея. «Я, – говорит он. – спросил его, знает ли он, на кого накричал, это воспитанница А. И. Капгер». Казначеем было неловко продемонстрировать такой способ общения с проходящими, он спохватился, и живо выписал.

Живя самостоятельно на свой заработок, я с трудом укладывалась в эту сумму – 17 р. 10 коп., потому что у меня деньги в руках не задерживались, не умела рассчитывать, жила очень скромно. Вечерами мы с учительницей вместо фруктов ели репу, брюкву (брюкву у нас растили голландскую, очень вкусную, сладковатую), мороженую красную рябину, из нее варили варенье. Но мои подружки-учительницы при готовой квартире сумели лучше распорядиться этой суммой 14 р. 10 коп. Они тратили 7 рублей на питание и 7 рублей на одежду. Смотрю, то одна, то другая, появляются в городе в плюшевых жакетах, хороших шапках и обуви.

Школа помещалась в самом большом двухэтажном деревянном доме, деревянном и оштукатуренном. Верхний этаж с довольно светлыми окнами занимала школа, в нижнем, полуподвальном, жили сами хозяева. Школа оказалась также бедна, как и церковно-приходская в городе, но много грязнее и заношеннее. В ней было три комнаты с двумя входами в сени. В первой комнате помещалось первое отделение с 8-ю четырехместными партами поближе к окнам; влево от входа стояла вешалка, вправо – печь (собственно плита). Во второй комнате учились оба отделения, второе и третье, а учащихся в обоих отделениях было не больше, чем в первом; уже видимо ученики отселись. Там стоял также старенький шкаф со школьным имуществом. Половину полочки занимала библиотечка. Поглядела я на эту библиотечку и привезла свою собственную им в пользование, в дар. У меня были небольшие, недорогие, но интересные книжечки.

В третьей комнате жила учительница, но занимала только ее половину: часть комнаты была отгорожена для девушки, видимо какой-то родственницы учительницы, она вела ее хозяйство и прибирала школу. Что больше преобладало в ее занятиях, трудно сказать: школа далеко не отличалась даже минимальной чистотой, а с учительницей и со мной эта девушка дружески проводила все вечера.

В классе моем было больше двух десятков мальчиков, самому младшему только минуло 7 лет, старшим шел 13 год. Эти два переростка остались на второй год. Девочек всего 4. Две из них лет 9, а две 7 лет. Полагалось принимать с 8-летнего возраста, но эти малютки так жалобно и настойчиво просили их принять, что я согласилась. Одна из них оказалась очень толковая, училась наравне с хорошими учениками, другая плохо соображала. Дашь ей тетрадь и спрашиваешь, сколько у нее тетрадей, она отвечает верно – одна; дашь ей еще, и опять спрашиваешь: «Теперь у тебя сколько тетрадей?», она

правильно скажет: две. Посчитаем карандаши также. А когда спрошу: так сколько же будет один и один, она весело, охотно и громко скажет: 7. Ну, что тут делать, еще не готова была к отвлеченному мышлению в таком возрасте. Но сидела тихо, не вертелась, старалась слушать. Когда я обращалась к ней, она вся сияла, расцветала приветливой широкой улыбкой. Подготовленная к преподаванию теоретически и практически в 8-м дополнительном классе гимназии, я старалась воспользоваться приобретенной практикой. Сперва я стала знакомиться с ними, насколько они развиты, есть ли желание учиться, чему они будут учиться в школе, читала понятные им рассказы, спрашивала их о прочитанном, заставляла рассказывать и попутно вводила дисциплину, как надо вести себя в школе, на уроках.

Надо сказать, что дети охотно шли навстречу, охотно слушали, рассказывали плохо, часто не хватало у них слов, а уж о связанности речи и говорить нечего. Но понемногу открывались и характер, и степень способности схватывать мысли. Уже недели через 2-3 эти пришедшие маленькие дикарята подчинились распорядку в школе, правилам поведения во время занятий. Занимались мы с 9 часов до 3. После 3-х первых уроков в большую перемену им давалась полная свобода: кричать, бегать, возиться, бороться, и все это на небольшой площади, где и парты, и гардероб, и проход в сени. Да еще усердное топтанье в валенках, большей частью скошенных, старых, пыльных – что невозможно и разобрать в общей куче в отдельности каждого ученика. Но как только раздавался звонок на урок, они все дружно усаживались по своим местам, понемногу успокаивались и затихали. До начала урока я им разрешала потихоньку переговариваться, чтобы не мешать соседнему классу, а когда начинала вести занятия, прекращались и шепоты. Введено было дежурство. Дежурным находилось немало дела: раздавать тетради, ручки, чернильницы разнести по партам, следить за чистотой на партах. Они все это проделывали охотно, не приходилось заставлять или упрашивать. Рубашонки и штанишки на учениках были чисты достаточно, выстираны, но пальто, обувь, эти долго ношенные вещи были грязны, пыльны, а если в придачу к ним еще надета на мальчишке отцовская или старшего брата шапка, то получался жалкий вид.

Возьмешь книгу в руки, раскроешь ее, вдруг, откуда ни возьмись, на белый листок прыгнет блоха; идешь мимо вешалки, где скученно висят пальтишки одно на другом, и по какому-нибудь пальто ползает вошь. Как-то, проходя по рядам парт, я взяла за руку девочку, чтобы показать, как надо писать, и почувствовала какие-то твердые нарывчики на ладони ее руки, спросила девочку, что это такое, она спокойно ответила: «чесотка». Осмотрела я руки у всех учеников, оказалось, что страдало этой болезнью больше половины учеников. Не только руки, но и тело было заражено. В очередной приезд в город я пошла в амбулаторию к нашему городскому врачу Чемоданову посоветоваться. Он рассказал, как надо лечить, выписал мазь, и мне в аптеке много раз давали по большущей банке. Это лекарство действовало полностью лишь при условии, чтобы больной перед ее употреблением был хорошенько вымыт, прокипячено его белье, платье и постель, на которой он спит. Я раздавала мазь, просила учеников мыться, менять одежду, но что касается постелей, тут я была бессильна. На руках эти болячки у учеников исчезли, но за окончательное выздоровление тела не ручаюсь. Надо бы побеседовать с их матерями, но я боялась с ними встречаться. Я уже упоминала, как агрессивно относились крестьянки к нашему составу.

Алексей Иванович говорил о том, как трудно убеждать крестьян – членов земского собрания согласиться с программой расширения поселковых школ, они не хотели ассигновать на это дело деньги. Он упоминал, что особенно упорным был Черезов – член земского собрания от крестьян. Однажды и у меня с этим Черезовым произошла встреча. Как-то во время урока отворилась широко входная дверь, на пороге появился мужчина, по обличью скорее достаточный мещанин, в добротном широком и длинном пальто, картузе,

в начищенных хороших высоких сапогах. Меня удивили ребята, они разом поднялись со своих мест, как бы здороваясь, и по моему знаку тихонько уселись.

Он поглядел с любопытством на ребят, поздоровался со мной. Я недоумевала, кто он такой, какой надо вести с ним разговор, и догадалась официально спросить его: «С кем имею честь говорить?». Он представился: «Член земского собрания Черезов». Вот, думаю, какой сокол залетел сюда. А он был такой представительный, выше среднего роста, плотный, здоровый, с правильными чертами лица, с чистой гладкой кожей, без бороды и усов. Взгляд очень бойкий. Теперь я не помню, о чем он спрашивал, и что я отвечала ему, только он не переставал оглядывать помещение, ребят, меня, простился и, уходя, опять был очень польщен прощальным вставанием ребят. Оказалось, что это посещение школы произвело на него большое впечатление: если он в такой короткий визит не мог удостовериться в успехах учеников, то был очень удивлен дисциплиной их, и в последующие собрания он не так уж рьяно восставал против основания новых школ по деревням.

К половине зимы мои ученики уже читали неплохо, считали, решали задачки, учились чистописанию. Подружилась я с ними быстро и даже полюбила некоторых. Один ученик, Иосиф, ему шел восьмой год, учился легко, соображал быстро, но характером был настолько живой, вертлявый, беспокойный, что мешал заниматься в классе. Много раз я с ним беседовала, уговаривала, он слушал с открытым ртом, смотрел на меня во все глаза, обещал сидеть тихо на уроках, но скоро забывал, начинал вертеться, и было видно, что это он проделывает иногда затем, что ему хочется опять беседовать со мной. Другой ученик, он был второгодник двенадцати или тринадцати лет, мимо кого бы ни проходил, всех толкал плечом, меня толкнул во время перемены. Я его спросила, почему он так ходит, толкаясь плечами, когда путь свободен, а он очень удивился, что толкает. Ученики же закричали разом, что он такой везде и его давно прозвали «сохатый». По крайней мере, в школе он стал оглядываться, ходить нормально.

Мой же любимец Иосиф просто превосходил всех в вежливом обращении. Идешь по рядам проверять как они пишут, а у Иосифа чернильница закрыта крышкой, левой рукой держит тетрадь, в правой ручку, и он просит меня: «Отворите, пожалуйста, чернильницу». А когда открою, он вежливо скажет: «Благодарю Вас». Я оставалась внешне серьезной, а про себя хохотала: ведь, он нарочно закрывал чернильницу. Когда я уходила из школы домой, он вставал на дороге против моего окна. Стоял, не шевелясь, смотрел на окно. Был мороз, и он ночевал в школе вместе с другими учениками, оставалось их человек десять. Мне стало его жалко, боялась, что он замерзнет, и я его зазвала к себе. Вот тут-то он выслушал серьезно мои наставления, а я еще стала рассказывать ему, что есть другие школы, где он может многое узнать, может доучиться до специальности доктора (врача): «своих же крестьян лечить или обучать». Он слушал с величайшим вниманием, а затем на уроках сидел тихо-тихо. А что тут казалось бы несбыточным? Тогда в учебном 1908-1909 году ему было семь с половиной лет, а в 1917 ему должно быть шестнадцать лет, открывалась широкая дорога всем желающим и учиться, и трудиться. Был он мальчик тщедушный, худенький, маленького роста, относительно с другими одноклассниками, с некрасивым лицом, но выразительными пытливыми серенькими глазами с золотистой искоркой.

Другой мальчик, способный, здоровый на вид, с красивым лицом, ему было лет 10, тоже был отчаянный шалун, остановить его не было никаких средств, мешал больше Иосифа. И вот он заболел. Ведь, когда они оставались ночевать в школе, то спали в том же классе на холодном голом полу, подложив под голову сумку и шапку, укрывшись своим пальто, не мудрено было простудиться. Смотрю, он на уроках тих, молчалив, сидит смиренненько, а во время перемен все ходит за мной и только тихонько постанывает. Удивившись его послушным поведением, спрашиваю: «Миша, ты не больной ли?». Он

стонет: «Больной». А у нас нет близко ни врача, ни лекарств, и больного отправить домой по морозу тоже опасно. Дня три походил Миша такой стонущий, выздоровел, и опять стал прежним вертуном.

Со старенькой учительницей мы однажды отправились в гости к учительнице в село Козьмодемьянское, от Тимкинской деревни верстах в пятнадцати.

Вот эта школа помещалась в своем собственном здании, недавно построенном. Кроме классов отведена просторная комната заведующей – старшей учительнице, младшая снимала помещение у крестьян. Эту школу посещали и дети из соседних деревень, которые в сильные морозы тоже ночевали в школе. Для ночевки в большой и удобной передней были устроены: внизу вешалка, а вверху – полати (как хоры), где ученики в теплом воздухе могли спать с большими удобствами; имелась кухня с плитой и котлом для горячей воды. Такого типа школы и намеревалось земство Уржумского уезда создавать по селам и деревням.

[Отъезд из Уржума]

Я искренне любила свое дело, оно было такое живое, требующее постоянного размышления, не только разума, но и чувства, и постоянного душевного напряжения. Но Алексея Ивановича перевели работать в Сибирскую губернию, оставить меня на моей работе в Тимкине, расстаться со мною – об этом не было не единой мысли в семье, которая воспитала меня и сделала своим членом. И мне пришлось покинуть школу весной 1909 года. Я покинула навсегда и город Уржум.

М. Князева